



*воспоминания,
устные рассказы*

Ирина
Стин и Фирсов
Анатолий



*Художник Медведев.
Вид усадьбы Васильевское.
Конец XIX в.*





*воспоминания,
устные рассказы*

Ирина
Стин и Фирсов
Анатолий

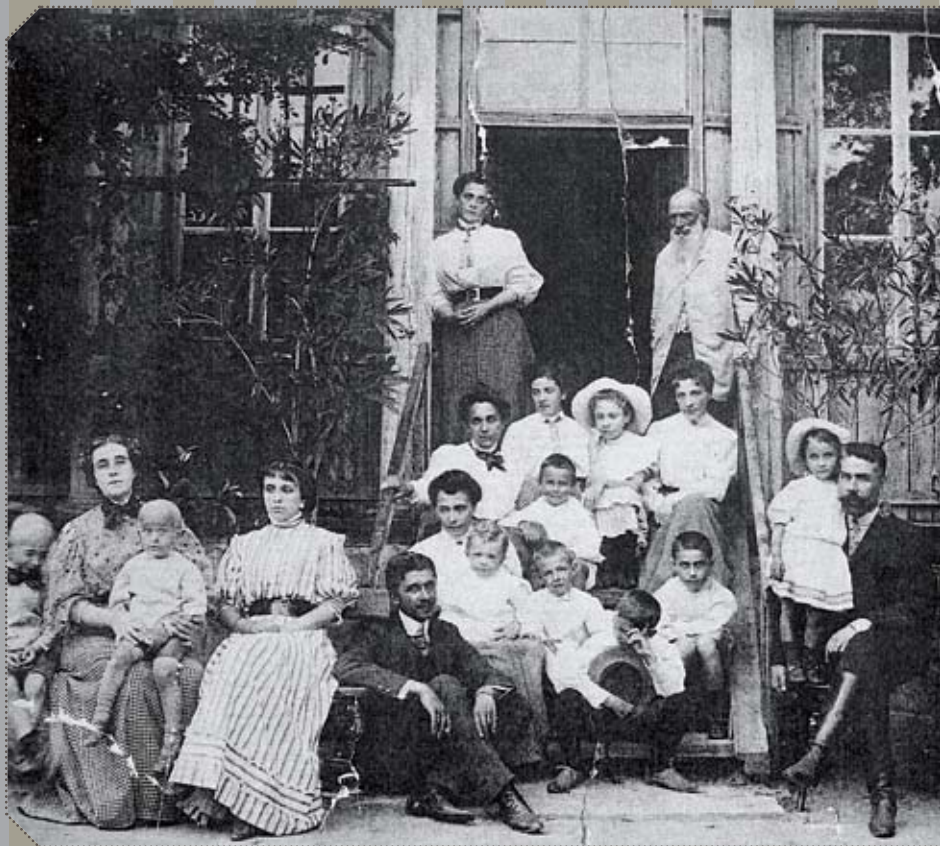




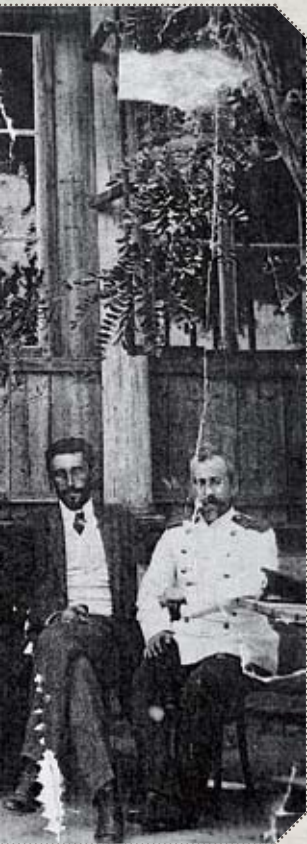
рассказывает

ИРИНА ИГОРЕВНА
СТИН





Петр Афанасьевич Стин (стоит) и его большая семья. Слева — Наталья Владимировна Стин с сыновьями Петром и сидящим у нее на коленях Игорем — будущим отцом И.И. Стин. Село усть-Каменка Херсонской губернии. 1908 г.



Картина

В семидесятые годы дом на Zubovском бульваре, где жили и умирали все мои предки, власти решили снести. И тут моя крестная говорит: «А ты, кажется, любишь старину?». Я говорю: «Да».

— А мои дураки ничего не ценят. Хочешь, я тебе дам одну картину? Тебе это будет интересно — там изображено Васильевское.

— Конечно!

— И ты ее будешь беречь?

— Ну конечно!

И мы пошли с ней в чулан, и она достала какую-то зажатую, грязную трубочку. Оказалось, это и была картина. Вид усадьбы Васильевское художника Медведева.

Усадьба была под Серпуховом. Она — символ того, что вообще сделала советская власть.

На картине Васильевское такое, каким оно было в девятнадцатом веке. Опрятное, аккуратное. С одной стороны — деревня, с другой — церковь. Лебеди плавают. Буколическая картинка.

Сохранились воспоминания моей бабушки, где она описывает жизнь нашей семьи в Васильевском. Она села за эти записки в двадцатые годы, подробно описала пару дней из того времени, когда была барышней.

Мы с Толей, имея перед глазами картину Медведева, решили поехать и навестить это место, узнать, что же там теперь. Подъезжая, сразу увидели: пруд спустили. Грязные, рваные берега, на дне которых течет ручеек. Туда свалены сапоги, калоши, ржавые кровати, корыта, детали от холодильников. Вместо дома — следы фундамента, а на нем какой-то мусорный лес. Мрачные, неприветливые местные жители; они босые играли на улице в карты и на нас косились: что это мы тут ходим и снимаем...

Дворянское гнездо

Моя точка на карте — Старый Арбат, пространство между Кропоткинской и Арбатом, Большой Афанасьевский переулок, Староконюшенный и Гагаринский, Сивцев Вражек... Это дворянский центр Москвы.

Все детство мое прошло там. Не подумайте, что я этим чванюсь или хвалюсь. Я просто объясняю вам среду обитания: все люди были благовоспитанные, все люди были, так сказать, благородного происхождения, и с другими не было повода общаться. В моем раннем детстве их еще было очень много — тех, кто не сел, и не расстрелян, и не исчез. Эти люди представляли собой совершенно особый круг людей, сословие. Маркс выдумал понятие классы, а на самом деле были сословия: дворянство, духовенство, купечество, крестьянство...

Наше житье было абсолютно отдельным от советского, хотя детей всячески втягивали в советское. Во дворе я, конечно, уже играла с ребятами вполне рабоче-крестьянскими, но я бежала домой, как птица летит в гнездо. Потому что с кем бы я ни дружила — а мы во дво-



ре нормально и дрались, и играли, — я чувствовала свою отдельность.

Вокруг меня все взрослые знали по два или три языка. Французский, немецкий — как русский, кое-кто и английский. Но дело не только в языках, а в образе мыслей, в образе взаимоотношений между людьми.

Очень долго еще в нашем кругу говорили: *они*. То есть когда речь шла о том, что за окном, говорили: *они*. И на всю жизнь я запомнила плачущую интонацию одного из наших знакомых: «Они не смогут удержать государство, они не смогут им править, они погибнут вместе с ним...». Они — это был весь советский мир.

Братьев-сестер у меня не было. Мало того: настолько была тяжела и страшна жизнь, что дома вокруг меня были только взрослые. Я была единственным ребенком в нашем окружении. Потому что боялись, боялись и понимали: а что если завтра вышлют, тогда что? Куда этого ребенка засунут? В детский дом? И дадут ему чужое имя?..

Мой дед был врачом. Широчайшее образование, глубочайшие знания. Еще понимаете, что очень важно, чему их учили: чем бы ты ни занимался, кем бы тебе ни пришлось быть — все делай самым лучшим образом. Это и перед Богом, и перед честью, и перед совестью. Дворянин не может делать что-нибудь плохо, небрежно.

Подрубленные корни

У моего прадеда была большая семья. Пять дочерей и два сына. И у всех были дети, по два, по три. У меня есть фотография: семья сидит на травке. Это ого-го сколько людей!

Одна из дочерей, Соня, вышла замуж за Роберта Гарнье. Он был врач-офтальмолог. Бабушка пишет о нем в дневнике, что он был очень живой, отзывчивый. Построил дом на берегу реки, на дедовской земле. Река была такая небольшая, что ее легко переплывали. Вот и летом 1918 года папин старший брат Петя, которому в то время уже исполнилось четырнадцать лет, переплыл речку туда и обратно, как обычно. Закрутил рубашончку на голову и переплыл. И вот все собрались чай пить в этом новом доме, а Петя, вернувшись с берега, — видно, промыслом



1948 г.

Божьим, — решил пойти на второй этаж и лечь спать. Зажег свечу, что-то начал читать. Вдруг слышит: какая-то странная суэта, какой-то топот, шум, непонятно что, а потом — стрельба! Кроме беспорядочной стрельбы, короткой, но обильной, Петя услышал крик сестры Ниночки, ужасный крик, который преследовал его всю жизнь потом. Оказывается, ее штыком ранили. А боль была совершенно непереносимая, тогда ее дострелили или докололи.

Когда Петя услышал, что сапоги застучали по лестнице, он нырнул под кровать, взмолился и там затих. Двое в сапогах стали на ощупь рыскать. Один спички нащупал, которые лежали на тумбочке, да нечаянно их смахнул. Да еще и ногой поддал. Стал искать, шарить по полу — буквально у Пети перед лицом, но не нашел. Другой говорит: «Ладно, сейчас не время — пойдем! А вообще-то отсюда хорошо дом поджигать». И с этими словами они ушли. Наступила абсолютная тишина. А Петя боялся выйти до самого рассвета.

Когда наконец рассвело, он спустился и увидел тетю Соню, которая сидела в какой-то странной позе, но живая, и сказала: «Вот видишь — это всё, что осталось от моей семьи». Все были убиты, включая и сторожа. Оказывается, сторож у них был, и он пришел, чтобы сказать, что там какие-то люди требуют сдать оружие, он им говорит, что никакого оружия нет, но они не слушаются и идут. Не успел он прийти с этим докладом, как эти люди зашли, приказали: сдавайте оружие, сдавайте деньги.

Дядя Роберт был уже немолодой человек, ему вдруг стало плохо — то ли сердце, то ли давление — и тетя Соня хотела ему мокрое полотенце хотя бы на голову положить. Они сказали: «Нет, сейчас не время!». И затолкали всех в другую комнату, которая была поменьше. Это уже все рассказывала тетя Соня, она решила, что затолкали их, чтобы не могли рассмотреть, чтобы можно было легче грабить. Затолкали и там начали стрелять. А ее, очевидно, они приняли за убитую.

Тетя Соня навсегда осталась тяжелым инвалидом, и когда все разбежались и разъехались во все концы, то бабушка даже не знала, где она и как сложилась ее судьба.

Бабушка вспоминала: «Так и помню: прекрасный летний день, чудное чистое небо и под ним — шесть гробов. И тогда я подумала, что это — только начало».

Папа все спрашивал, почему я ни разу не поехала на юг, хотя бы посмотреть на то, что осталось от имения. Но он и сам не поехал, не хотел уже, тяжело. Жили у него в памяти дом под соломенной крышей, гигантские шаги, которые стояли в саду, знаменитое какое-то огромное дерево, росшее с екатерининских времен, на котором все расписывались. Так было принято — дети вырезали свое имя...

Но мне туда не хотелось, было тяжело, неприятно, хотелось опустить этот занавес навсегда. Есть фотографии, вот они как раз висят передо мной: папа и его брат, в маечках, кораблик строят. А вот маленькая прабабушка в кринолине, аккуратненькая такая, и кружевные штанишки выглядывают, как это было модно.

И вот что характерно: сколько лиц, и никто не улыбается, у всех серьезные, спокойные лица. Не было этой дурацкой современной манеры «делать улыбки».

Государь

Понятия о том, какой в стране режим, были у нашей семьи с самого что ни на есть 1917 года. Ведь как присягали мои предки за веру, царя и отечество, так мы и жили.

Вот и у меня какое самое любимое восклицание? «Христос Воскрес!» — «Воистину воскрес!». А еще — «Боже, царя храни...».

К государю отношение было свое, родное. Потому что мама могла бы учиться в Смольном институте. Дедушка был депутатом Государственной думы последнего, четвертого созыва. В семье думали, что маму можно бы отдать в Смольный, а дедушка мог бы ее навещать. Но потом решили, что Полтавский институт благородных девиц ничем не хуже, зато тут ей ближе приезжать на каникулы.

Ну а если бы мама училась в Смольном, то, конечно, кончила бы с шифром¹ и стала бы фрейлиной. Вот вам и вход во дворец. А прелестная была женщина, изящная, остроумная, красивая, с огромным вкусом одевалась, она бы там была свой человек. И вполне могла бы и замуж

1 Лучшие ученицы Смольного института при выпуске награждались золотыми медалями и получали специальные императорские шифры — золотой вензель в виде инициала императрицы, который носили на белом банте с золотыми полосками.

за великого князя выйти, в чем не было бы ничего удивительного.

Старший ее брат, еще мальчишка, окончил ускоренный курс Михайловского училища и пошел в Добровольческую армию. Потому что ни тени сомнения, надо ли защищать от этой сволочи государство, не было.

И потом, когда я читала о тех из «наших» людей, которые, так сказать, встали на другую сторону, я поражаюсь, какой страшный грех они брали на душу. Как-то помогать, как-то сослужать красным? Ведь прежде всего эти захватившие власть люди кого-то уже убили! Причем не в войне, а вот так — безоружных, выстрелив, когда открыли дверь.

Подвал

Как мы оказались в подвале? В двадцатые годы была система самоуплотнения. Когда у человека площади было больше, чем положено, он имел право уступить этот излишек кому-то своему. И вот наш знакомый, ученый-востоковед Гурко-Кряжин², решил самоуплотниться. Пустил еще жильцов. У него оставались гостиная и библиотека. А подвал он нам продал. Там окна были, и он назывался даже полуподвал, и мы очень радовались и гордились, что наши окна — на два кирпича над тротуаром.

И из роддома меня принесли туда, и там я прожила сорок лет. Я родилась у знаменитого Грауэрмана, там все рождались, кто жил на Арбате.

Я когда-то маме сказала: «Мама, я не понимаю: как вы смогли все это перенести? Расстрелы, потерю родного дома, гибель близких, постоянные страхи... Если бы я была вашей сверстницей, я бы этого не выдержала!».



2 Владимир Александрович Гурко-Кряжин (1887–1931) — востоковед, археолог и этнограф. Автор исследований по новой и новейшей истории Турции, Ирана, Афганистана и других стран Ближнего Востока и Кавказа.

— Ну как же, у нас был опыт, — сказала мама.

— Какой? — удивилась я.

— Французской революции.

Оказывается, они с детства понимали, что это может случиться в России. Для них революция не была неожиданностью.

Грезы

Я собиралась быть врачом и писателем и заявляла об этом прямо почти с пеленок. С детства очень жалела и любила людей и все живое. У меня были какое-то необыкновенное чутье, интуиция и внутренние силы, которые меня распирали, я не могла объяснить, что это такое. Но у меня было чувство, что я очень много могу. А что — даже не знала. И было не важно, но я точно знала, что, чем бы я ни занималась, буду отдавать всё, все силы этому.

Мне хотелось рассказать о жизни, сострадать людям. Что-то им передать, но не какие-то стишки писать. Любимым писателем всегда был Бунин. Я ведь родилась в семье, где никогда не говорили ни о чашках, ни о ложках, ни о туфлях, ни о сервизах, а говорили в основном о литературе.

Мне читали французские романы, я старалась слушать и понимать французский язык. Читали так: прочтут абзац какого-нибудь «Les malheurs de Sophie», потом переводят.

Никто никого не готовил к Парижу, но считалось в порядке вещей, что ребенок познает языки с детства. А Чарская считалась недостойным чтением, сентиментальным, при ее упоминании все морщились, говорили: «что-нибудь вроде Лидии Чарской». А какие-то обычные русские сказки с удовольствием слушались.

Я выросла под разговоры: «Что такое ваш Чехов? Вот Бунин!» — и так далее. Когда мне было уже двадцать с чем-то лет, я в чужом доме случайно увидела том Бунина и целую ночь напролет читала его.

Поскольку литература была наша постоянная пища, без этого не могли жить. Что-то вспоминали, что-то читали, читали вслух, спорили, иногда и восторгались. Поэтому я выросла в убеждении, что нельзя не быть пи-



1953 г.

сателем. Писала стихи, и недурно. Но у нас была такая формула: если не можешь писать, как Бунин, — не пиши вообще. Поэтому все экзерсисы, упражнения — все это у нас считалось потерянным временем. Если что-то можешь делать серьезно — делай, а не можешь — что пыжиться?

Мама

.....

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, я уже видела, как маме тяжело: папа в ссылке, надо ему посылать обязательно посылки, и нам тоже надо что-то есть, а тогда платили такие копейки, что невозможно было жить на эти деньги. И мама сдавала еще кровь, причем много лет, чтобы хоть что-то получить. К тому же, кроме денег, донорам давали чашку горячего какао с молоком и хлеб — это было очень важно для нас. Я хотела тоже сдавать кровь, но мне сказали: нет, несовершеннолетних не берут.

Потом я где-то услышала, что очень хорошо платят штукатурам, и радостная примчалась: «Мама! Я могу пойти в техникум! И буду строительным рабочим, потому что там хорошо платят». Это был единственный случай, когда мама сказала: «Через мой труп». На меня это так подействовало, что вопрос сразу увял. И я маме страшно благодарна. Потому что при обычной возрастной дурости, у меня ментально завелся бы роман со штукатуром, потом бы вышла за него замуж — и прощай, греза! Была бы сейчас штукатурша, может быть, знатная.

Мама просто понимала, что это совершенно другая среда, в которую я неизбежно вращу, несмотря на мою школу, на мои философствования и на все мои определенные несвойственные возрасту

*Ирина Стин
фотографирует
маму на берегу
реки. 1949 г.*



качества. А жизнь затягивает, сначала — уа-уа, младенец, потом какая-то родня, потом этот штукатур изменил — и все, пошло-поехало. Слава Богу, этого не случилось.

Поэтому так важна среда обитания. Она дала мне всё, все представления, все навыки. Представление о том, как должно быть. Что в каких случаях говорить. Как встать, когда входит кто-то взрослый. Из этого складывался общий житейский навык поведения. Так что мама для меня в этой науке была, конечно, номер один.

Отец

Мой подростковый возраст упал на последний арест отца, страшно тяжело прокатившийся по нашей семье. Их было три, и это был последний.

Во второй арест он строил дорогу Москва — Минск, а только вернулся в 1946-ом — посадили снова. Целый год папа был под следствием на Лубянке. Надо было обладать его казачьим здоровьем и духом, чтобы год выдерживать все муки, которые он там претерпевал.

Надо было ему носить еду, а мы голодали. Потом папе надо было посылать посылки в Воркуту. И, слава Богу, он там не умер, в этой последней ссылке.

Мы постоянно заполняли анкеты, даже в школе, дети. И вот подходит ко мне какая-то девочка наша и говорит: «Стин, а почему ты написала: отца нет — он умер, что ли?» Я говорю: «Нет». Не могу же я сказать о живом папе, что его нету. «А что? Почему ты пишешь, что нету?» И тут я вдохновенно соврала: «Он нас бросил». «А-а», — сказала она и довольная ушла.

Маме очень было трудно с работой, нельзя было устроиться на работу: как только скажешь про папу, сразу говорят: «Извините».

Писать папе можно было только раз в месяц, но вскорости он нашел там одну даму, на имя которой



мы и посылали письма, посылки и все прочее, а она ему передавала. Слава Богу, мы имели эту возможность. Папа мне писал, а мы ему все время что-то посылали, он каждую минуту был с нами. Мы помнили, думали, заботились.

Когда он приехал после ссылки, уже свободным человеком, он водил меня по ипподромам и ресторанам, и как-то я ему говорю: «Пап, а почему ты меня ничему не учишь? Ничего не рассказываешь?». Он ответил: «Не рассказываю, потому что мне легче не будет, а тебе будет тяжело. А не учу — ну как ты себе это представляешь?». Я говорю: «Ну вот, прямо так вот». Он к этому совершенно не был склонен и готов. А если и учил, то очень просто — одним-двумя словами. Их было достаточно, чтоб запомнить на всю жизнь.

Однажды он нас с Толей отправил в Ленинград, дал денег и сказал: «Поезжай, нельзя не видеть Ленинград!» Мы поехали туда, попали на кладбище Александро-Невское и прочитали на одной плите: «Отечество свое любил и прославлял, Суворова труды и славу разделял... Сынам отечества нельзя его забыть, и русскому нельзя без вздоха здесь пройтись»³.

Приехала, говорю: «Пап, правда, очень смешно там написано: пройтись». Он говорит: «Смешно, тем более что это твой прямой предок». Вот мне был один из уроков: обратиться наконец к своей родословной, потому что бы мне ни говорили, все улетало из одного уха в другое. Так что он был всегда очень краток и настолько четок, что забыть это было невозможно.



3 Эта мраморная плита находится на стене Благовещенской усыпальницы, где покоится Яков Иванович Повало-Швейковский (1750–1807) — генерал от инфантерии, участник Итальянского похода А.В. Суворова 1799 года. Полностью стихотворная эпитафия выглядит так:

Отечество свое любил и прославлял,
Суворова труды и славу разделял
Мечом вооружен — враги его страшились,
А сердца и души с отичной правотой,
Фемида! — он закон твой толковал святой.
И дни Швейковского хотя уж прекратились,
Сынам отечества нельзя его забыть,
И русскому нельзя без вздоха здесь пройтись.

Бабушка

Очень много дала мне бабушка Наталья Владимировна — бесценный человек, ума палата. Лиза Кругликова — двоюродная сестра моей прабабушки. Бабушка пишет, что когда готовились к фейерверкам в честь празднования ее именин, то всем этим руководила Лиза Кругликова, которая тогда уже была известной художницей.

Во время Первой мировой войны они с дедом мотались по фронтовым госпиталям. Дед ведь был врачом. А потом — страшная мясорубка Гражданской войны, в которой они были провернуты многократно, вся ее семья, маленькие дети. Так что никаких благотворительностей уже не было — уцелеть бы, прокормить семью.

Сразу после революции бабушка начала преподавать, давать уроки иностранных языков. Но она и в нищете оставалась светской дамой.

Когда дедушка был директором усадьбы в Кускове, они жили сначала в итальянском доме, там оказалось сыро и холодно, а потом в швейцарском, он был деревянный, в нем было намного легче. И вот туда приходила молочница, вообще они еще долго приходили, даже на мою память, даже во время войны. У них были такие бидоны, на заклепках, такие же были кружки. Они наливали из бидона в кружку — ровно по краешки — и потом переливали в вазу тару. Так вот когда приходила в Кусково такая молочница и они там беседовали о погоде или еще о чем-то, бабушка выходила в легком ситцевом халате, который был надет вообще ни на что, и на босу ногу тапочки. И она спокойно могла с ней стоять и разговаривать на террасе, а терраса хоть и застекленная, но не утепленная. А на улице было минус двадцать. И так она спокойно и мирно беседовала, никогда не болела и не простуживалась. Это было типичное: навстречу северной Авроры, звездой севера явись⁴. Бабушка не знала, что такое простуда, что такое холодно.

Бабушка была невероятно умна и строга. Помню ее первую заповедь (тогда мне было лет пять-шесть): «Помни о смерти». Умереть придется, и надо жить так, чтобы не было стыдно. Не дай Бог, чтобы огорчить Бога.

4 Строки из стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро».



*Ирина Стин
и Игорь
Афанасьевич
Стин. 1956 г.*

И я это понимала. Она мне сложила пальцы, показала, как надо молиться, научила меня молитве «Отче наш», кою я каждый вечер, стоя на коленях в постели, исполняла перед нашей семейной иконой. Таким образом, уложились какие-то устои.

Еще помню: мы шли по улице, а я надулась, не помню на что. Бабушка спрашивает: «Что ты молчишь?» — «Я обиделась». — «Обиделась? Обижаются только мещане». Все, больше я никогда и ни на что не обижалась, как бы меня ни задело, что бы меня ни огорчило, всегда из всего можно найти выход, но обида — это не выход, это глупость. А еще ведь тетешкаются с этой обидой чуть не всю жизнь.

Бабушка умела давать уроки не совсем обычным способом. Летом мы жили на даче у бабушкиной подруги. Дача была большая, и в каждой дыре жила семья. И вот там все болтались во дворе, в этом самом саду фруктовом, где мы любили кислые, совершенно несъедобные яблоки срывать, не дожидаясь, когда они созреют, с белыми семечками — кислятина страшная! Но зато удобно было плевать через губы — кто дальше.

Разницы во дворе между нами не было никакой — игры общие, интересы, взгляды общие. И вот с девочкой какой-то я играла, выходит бабушка, так и помню: на каждой ладони у нее лежит большой бутерброд с вареньем. Раньше были хлеба не квадратные, а овальные и большие. Они прямо больше ладони и на каждом густо намазано варенье. Бабушка подала нам хлеб и ушла, а девочка мне говорит: «Ой, как тебя бабушка называет...» — «А как?» — «Солнышко мое». А я и не замечала.

Поглотили мы эти бутерброды, поиграли-поиграли, в положенное время я вернулась домой. И вот вдруг вспоминаю: «Бабушка, а почему ты мне



вынесла бутерброд во двор? Ты же говорила, что на улице едят только деревенские дети». А она говорит: «А я не тебе вынесла, я вынесла этой девочке. У нее нет мамы. Но чтобы ей не было обидно, я и тебе вынесла».

Ребенок считает себя пупом вселенной, а тут — «и тебе». Потом — «у нее же нет мамы», то есть и мне бы тоже не мешало поинтересоваться. Значит, некому девочке вынести бутерброд...

Так бабушка два дела сразу сделала: она обласкала и накормила эту девочку и дала мне урок: надо помогать другим, и я не пуп вселенной.

Когда бабушка мне говорила, что нельзя громко говорить, нельзя громко смеяться — все это меня только раздражало: почему всем можно, а мне нельзя? Это вызывало раздражение и протест, но потом улеглось и стало моей натурой, и я поняла, что она была абсолютно права. Нельзя кричать, нельзя громко смеяться, нельзя, если нет пожара, бежать. Надо вести себя корректно.

Дворянское воспитание всегда сводилось к мобилизации, к собранности. К удержанию чувств и внешних проявлений. Задача была: не проявлять эмоции, а управлять ими. Точно знать, что, как, кому и почему говорить, что сделать в данный момент. Человека учили с детства управлять собою. И думать.

У бабушки расстреляли старшего сына, так что она тоже получила полную версию советской жизни. Ужасная была жизнь, и тем более было интересно, знаменательно видеть таких людей в этой жизни.

Бабушка умерла в 1944-м. Она очень молилась — вот как раз перед этой иконой. Это семейная икона восемнадцатого века, и она передавалась из рода в род по женской линии. Называется «Взыскание погибших», она необычная: Божья Матерь без покрова на голове и вообще одета как-то так по-женски. На обратной стороне иконы — все имена-фамилии дам нашего рода, которым она передавалась. Замыкаю список я.

Детей у нас с Толей нет, наследников нет, поэтому на этом кончается род, все его последование.



1950-е гг.

Доктор Гааз

Доктор Федор Петрович Гааз⁵ похоронен на Немецком кладбище, где и наши близкие все. Оно же Введенское, оно же Лютеранское, оно же Введенские горы. Находится на Госпитальной площади, там рядом.

Чудное старое кладбище с очень красивыми памятниками не все тогда было разгромлено и не все разграблено. На центральной аллее — крест самый простой, католический, четырехконечный — доктора Гааза. Ограда металлическая, и вся она была «украшена» коваными кандалами — в память о том, что доктор помогал кандалным. Увы, когда была я там в последний раз, какой-то негодяй их уже срезал, потому что усмотрел в них, очевидно, раритет. Конечно: девятнадцатый век, ручная работа.

Однажды бабушка остановилась около этого креста и рассказала мне о Гаазе довольно коротко. И настолько все это меня очаровало, настолько оказалось мне близко, что действительно перевернуло мою жизнь. Мне лет пять всего было или шесть, но я вдруг увидела и поняла: вот цель жизни! Вот она! Бабушкин рассказ о судьбе доктора просто перевернул всю мою психологию; я твердо тогда же и решила, что буду врачом и буду поступать только так, как доктор Гааз. Только так можно и нужно жить. И никак по-другому. И никакие другие профессии, ни возможности меня долго не привлекали и не интересовали. Только *это*. А это состояло из неуклонной, последовательной, педантичной помощи ближнему.

Гааз был немец, поэтому он делал это все по-научному, я бы сказала. Не помню, как он оказался в России, то ли его какая-то инфекция интересовала, то ли еще что-то, чего в Европе не доставало. И так ему здесь понравилось, что он прожил тут всю жизнь.

Он был блестящий врач, и сразу же начал хорошо зарабатывать, и вскоре у него появились несколько домов, великолепные лошади, великолепные кареты. За кратчай-

5 Федор Петрович Гааз (Фридрих-Иосиф, нем. Friedrich-Joseph Haas; 1780–1853) — русский врач немецкого происхождения. С 1806 года состоял на русской службе, был главным врачом московских тюрем, посвятил свою жизнь облегчению участи заключённых и ссыльных. Постоянно принимал и снабжал лекарствами бедных больных. На благотворительность ушли все его сбережения.

ший срок Федор Петрович стал состоятельным человеком и уважаемым врачом. И к нему приезжали, и он выезжал, то есть это была заметная фигура. Кроме того, он был громадного роста. Очень был приметен.

И Гааз сразу же поставил дело так, что принимает всех, и богатых, и бедных, кто бы ни пришел. Богатство совершенно не изменило его натуру. По всей Москве все знали, что он принимает всех. И поэтому даже очень бедные люди приходили или приезжали к нему.

А он человек был серьезный и, принимая какого-нибудь мужичонку, начинал с того, что говорил: «Вы знаете, я же дорогой доктор». — «Как же, как же, слышаны». И тут мужичонка разворачивал свой платочек. Я помню эти платочки. Я застала еще время, когда тряпица какая или платочек подрубленный использовался в качестве кошелька. И вот мужичонка разворачивает и достает монетки и дает, допустим, полтинник. А доктор сбрасывает эту монету в ящик и приступает к опросу. Очень долго все, тщательно — где родился, какая семья, чем болел, сколько детей, какая жена, чем кто болеет — ну все-все. И пишет, и пишет себе, пишет и пишет. Бедный уж измается, думает, что неудобно — такой человек столько времени тратит. Потом доктор подходит к стеклянному шкапчику, достает то, что считает нужным, и говорит: «Перед употреблением взбалтывать» — и так далее. Бедняк прижимает к сердцу бутылочку и отправляется домой — то ли на трамвае едет, то ли пешком добирается до своей окраины. И вот в конце концов человек добирался к себе домой, измученный дорогой и мыслями о том, что пятьдесят копеек он все-таки истратил, серьезные деньги, на доктора-то. А во дворе у него стоит... корова или лошадь — в дар от доктора.

У Гааза был какой-то помощник, которому он во время приема давал знак, и тот ехал на Конный рынок (его потом стали называть Птичьим, потому что коней ни у кого не было в советское-то время), покупал, что было нужно, и по адресу, уже переданному ему Гаазом, отвозил.

И вот этот момент в бабушкином изложении вызывал у меня наибольшее воодушевление. Вот как надо жить и как помогать: не кинув медяки какие-то бедному, а так, когда бедняк даже и не знает, что доктор уже в это время ему с Конного рынка ведет лошадь!

Еще мне особенно понравилась эта система строгости показной и того, что Гааз смело говорил, что он доктором врач, а при этом его покупки стоили в сто, в тысячу раз больше.

Все это мне было так близко, так радостно! Внутренние чувства, помню, просто разрывали меня. Мне казалось — вот же, вот же! Каждый человек так может и должен жить. Ну, насчет каждого человека не знаю, а для себя я решила твердо стать врачом.

Наталу и Сирано

Я в детстве дружила со стариками — с ними интереснее. Именно со стариками, а не со старшими. У бабушки была красавица-подруга Наталия. Как я ее любила, это была прямо моя подруга! Не знаю почему, но я выдумала ей имя Наталу и иначе не называла и сейчас даже, когда молюсь об усопших, оговариваюсь. «Вот моя бедная Наталу...». Я всегда ее жалела.

У Наталу был чудный голос, она не только им пела, она и говорила им — такой грудной, наполненный, как орган, голос. Даже слышать его было радостно. Жила она в пригороде Москвы, тогда это дачная местность была, Любимово называлась.

Наталу была ровесница бабушке, они родились в 1879 году. В мои детские времена им было под шестьдесят лет.

У Наталу был очень интересный брат, Евгений Августович — философ, мыслитель, с очень своеобразным лицом. Нос у него был большой, но при этом правильный.

Кстати, сделаю ремарку: моя мама всегда возмущалась, если видела на снимках со спектаклей, что у Сирано нос сделали какой-то безобразной картошкой, каким-то зигзагом, какой-то кусок теста прилепили! Режиссеры не понимают, что нос у гасконца Сирано был орлиным, а значит, правильным, красивым.

Евгений Августович был поклонником моей бабушки, и она называла его «мой Сирано». Надеюсь, вы понимаете слово *поклонник*?.. Оно идет еще от старых времен, когда поклонник и любовник — это небо и земля!

Поклонник — это просто человек, который вам дарит цветы, пишет стихи, читает, рад вас видеть, то есть слегка в вас влюблен. При этом вы можете быть замужем, муж абсолютно не придает этому никакого значения, может, посмеивается немного. Но не более того. Тут не может быть даже и поцелуя за дверью, где никто не видит.

Евгений Августович отличался не только носом, но и весь был высокий, стройный. И поэтому когда этот гасконец появлялся где-нибудь на русских дорогах, он сразу обращал на себя внимание, потому что весь облик его был совершенно чужд нашему представлению о мужчине. О его облике я еще говорю потому, что его как раз одного из первых наших знакомых сослали, причем не в лагерь, а на поселение, в какую-то тмутаракань, в небольшой город, где каждый чужой человек на виду. Он страшно настрадался в этой ссылке.

И вот когда началась паспортизация, Евгений Августович пошел, как все, за паспортом, а получил справку. Паспорт ему не дали. И когда он понял, что раз ему не дали паспорта, то он опять усечен в правах и он опять «на прицеле», то пришел домой, написал письмо и отравился. Так погиб наш Сирано, так Наталу потеряла своего защитника и любимого брата.

Оставался муж Борис, инженер, милейший, веселый человек. У Наталу был характер обидчивый, несговорчивый — такой бывает у красивой женщины. Капризы, знаете. А Борюшка, муж ее, был на все готов, на все согласен, лишь бы она не огорчалась, не обижалась. Был ласков, улыбчив, приветлив — и бах! — 1937 год, нет Борюшки — расстреляли.

Так она осталась совсем одна, сразу переехала, поменяла ту дачу, где она жила, на очень милую квартирку, которая оказалась хороша тем, что имела отдельный вход. Большая просторная терраса, затем маленькая проходная кухонька и комната. Напротив дома — довольно приличный сад. Наташа очень любила цветы и вечно что-то сажала, поливала. И благоухание было изумительное, тем более что терраса устроена была по старому образцу — имела большие окна и все они раскрывались. Там крючками рамы закреплялись. И вот вечером какие-то цикады поют, ночные бабочки летают, тишина, благоухание. Просто ты живешь в раю.

Однажды Наталу подарила мне замечательную золоченую чашечку, красивую очень, изящную, такую, пожалуй, как роза, по форме. Очень я ее любила! И с этой чашечкой я старалась затянуть время, посидеть подольше со взрослыми. А над нами была сначала керосиновая лампа, а потом уже электрическая.

Так мы хорошо там жили у Наташи, пока не началась война.

Старые дачи

Когда я была маленькая, мы снимали дачу. Заборов там не было, а только штакетники, между которыми мы охотно лазили, когда играли. Стоило одной штакетинке не держаться, как положено, и все — мы уже пролезали. Заборчики эти оберегали цветы (а везде было море цветов), чтобы не потоптали. Дачные поселки благоухали, густо-густо засаженные табаком и резедой. Это такой стоял дух, что ты просто утопал в блаженстве. А еще радовали ягоды — малина, черная смородина, слива. Всякая семья обеспечивалась этим на зиму запросто.

Помню, мы с бабушкой пришли в гости в один из незнакомых домов. Хозяйка открыла чуланчик, а там стояли большие банки — пятилитровые, тонкого стекла, с завернутыми краешками (для того, чтобы, когда банку накрывали бумажкой, можно было завязать веревочкой, и чтоб она не соскальзывала, края были примерно на сантиметр вниз отвернуты). И все эти банки стояли, полные варенья. Это потрясло мое воображение. Я решила, что когда вырасту, обязательно тоже буду делать так. Потом жизнь изменилась, и выяснилось, что «так» делать совершенно неудобно, потому что большое количество варенья, если не иметь погреба или какого другого холодного места, все-таки, как ни вари, портится.

Каждый дом утопал в саду. Вы просто шли дорожкой, а вокруг уже был сад, там могли быть и яблоки, и сливы, и груши, и кустарник всякий, и несметное количе-



ство цветов. Вдоль пешеходных дорожек тянулись канавы довольно глубокие для стока воды.

Около магазинов стояли обычно такие мороже-ницы на колесах, там продавали мороженое. И продава-ли не так, как сейчас, а с помощью устройства, похожего на широкий шприц. Представьте: шприц слегка втянули, туда на дно положили вафельку круглую, на вафельку — мороженое и сверху закрыли вафелькой же. Снизу нажи-мали поршень, и выпрыгивала кругленькая штучка — мо-роженое с вафлями, можно было лизать. Это было боль-шое, большое удовольствие!

Двери в дачных поселках почти не закрывались. Какие глазки, железные двери — ничего этого не было! Были кустарники, штакетники, во дворе — дом, едва запи-рающийся на крючок изнутри, когда все ложились спать.

«Я до утра тебя ждала...»

Представьте: вы идете по тихой дач-ной улочке (никаких машин), и вдруг где-то поставили пластинку на патефон и в этой тишине — божествен-ный, царственный голос Тамары Церетели. Какой это был голос! Царица пения. Даже в таком раннем детстве (лет пять-шесть) я очень ее любила и всегда отличала от остальных.

Тамара Церетели — это с одной стороны глубоко светское исполнение, а с другой — слегка цыганское. Я понимаю русских офицеров, которые ездили специально слушать цыган, потому что в их пении есть что-то особенное — бархат, глубина, страстность...

А Изабелла Юрьева — тоже сказочная певица. Ее исполнение мы не воспринимали как пение, тут душа с душой говорила. То шепот, то какой-то нежный тихий говор. Вы переходили в какое-то совершенно новое измерение: ласковое, тихое, глубокое, а современная жизнь совершенно от вас отступала.

Один из своих романсов⁶ Изабелла Юрьева на-чинала словами:

⁶ «Венгерская песня». Музыка И. Юрьевой, слова П. Бернадского.



1948 г.

*Я до утра тебя ждала...
Когда же звездный блеск померк,
Без слов, без слез я поняла,
Что ты любовь мою отверг.
И стало мне понятно,
Что не вернуть обратно
Того, что безвозвратно
Уходит навсегда...*

В этом были такая нежность, глубина, интимность, такое чувство, что это вам поют. Церетели по манере напоминала Шульженко, такое же владение словом, что оно не просто исполнялось, оно жило, жило своей жизнью...

У нас дома пластинки появились только во время войны. Не знаю, откуда взялся патефон, и то чужой и ненадолго. Вертинского еще не было, он еще не вернулся из эмиграции. Слушали старые пластинки, и они были так хороши.

Бабочка

Дача, тишина, чистейший воздух. Сплошь кругом — жуки, бабочки, шмели, пчелы, стрекозы... Все это летит, все живет своей жизнью, всего много.

В то время продавались сачки на легкой ручке. Все дети бегали с сачками, и я тоже. Бабушке долго не удавалось отучить меня от этой пагубной привычки ловить бабочек.

Однажды бабушка стояла, разговаривала с какой-то приятельницей своей, и вдруг мне на плечо села бабочка. И я бабушке показываю — мол, тише, тише, сейчас я ее поймаю. А бабушка очень страдала от этого, и она мне сказала: «Ну зачем же ее ловить? Ты посмотри: она тебе доверяет, села к тебе на плечо. Она даже, может быть, просит твоей защиты». И я не просто ловить не стала, я устыдилась впервые. Ребенку же очень важно быть честным и справедливым, он все время стоит за честность, он спорит, если кто-нибудь, играя в салочки или пряталки, подсматривает. А тут прямо тебе говорят, что ты предал. Как же



так? Выходит, что я совершаю подлость. С этого момента я перестала ловить бабочек.

Старая Москва

Были тогда еще не тронутые переулочки, дворы, дровяные сарайчики. А по крышам сарайчиков мы носились, играли, прятались. В сараях дровишки были на полках, и они пахли так хорошо. И березовые, и осиновые — как пахли хорошо и вкусно! Или, допустим, ольха, красная такая.

В старой Москве мы были связаны все время с природой. Дровами ли, лошадьё, то есть природа была где-то рядом, мы были среди нее. Мы всегда следили с трепетом, как молочницы наливали молоко, они до капли наливали полную кружку и никогда не проливали. Это было удивительно.

А ещё, конечно, было топленое молоко, в котором плавают пеночки розовые и жирок такой.

До войны картошку или свеклу, например, на рынке вообще не взвешивали, не знаю, чем это было вызвано. Были такие маленькие бадейки, их наполняли, и покупатели спрашивали: «Почем мера?». Причем меры были разного размера — поменьше, средние и большие. Примерно от полутора килограммов до пяти-шести.



1950-е гг.

Война

Война началась, когда мне было девять лет. Помню один из вечеров сорок первого, конец лета. Мы сидим на дачной террасе. Взрослые — ко мне лицом, а я — к окнам лицом, напротив них. И вдруг я вижу большую звезду, такой большой я раньше не видела. И она медленно так падает вниз, опускается. Все повернулись, когда я сказала: «Смотрите! Какая звезда!». Оказалось, что это осветительные немецкие ракеты.



*Утро трудового дня. Москва.
Середина 1950-х гг.*

Конечно, «лучшего» места для спасения от войны, чем наш дачный поселок, просто нельзя было придумать. С одной стороны проходило шоссе Энтузиастов, а с другой располагался топливный склад, где стояли огромные баки с бензином. С третьей стороны — железная дорога. А в середине как раз были мы. Считалось, что мы уехали из Москвы, которую в это время бомбили. Но тут тоже все время бомбили. И соседнюю дачу разбомбили.

Когда началась война, сразу вышло распоряжение рыть щели так называемые. Щель — это Г-образная траншея, которая потом накрывалась чем-нибудь. И по ней нельзя было прямо ходить, там можно было лишь сидеть. У нас на даче щель вела в подвал. То есть мы не шли поверху, а прямо из щели попадали в подвал. Дача была огромной, двухэтажной (до революции она принадлежала знаменитой актрисе Каткульской⁷), и подвал был хоть не глубокий, но большой.

Всем обществом выкопали эту щель, стали на время тревоги прятаться в подвал, как в бомбоубежище. Помню, однажды так садануло, что мы все подпрыгнули, дача подпрыгнула, и кто-то стал кричать. Оказалось, это была немка, учительница немецкого языка, такая кругленькая, как мешочек, она, бедная, сидела на бочке и провалилась в нее. Подскочила и провалилась.

В подвале мы все сидели молча и смиренно, особливо не разговорисься. Невольно слушали моторы самолетов, а потом все время: бах! бам-бам-бам-бам! — зенитки. Так что было достаточно шумно, и все сидели как под гипнозом, в ожидании, когда наконец опять будет сирена и можно будет выйти.

Однажды я была во дворе и вдруг увидела машину — обычный грузовик-полуторка. И тут же я увидела двоих мужчин, которые ведут нашу учительницу-немку. Вот эту старенькую, кругленькую, как мешочек. Ведут-ведут и приказывают ей садиться в эту машину, а она никак не может влезть, на колесо опирается и срывается нога, она же старенькая, толстенькая. Никак. Наконец им надоело, и они ее перебросили через борт — как мешок. Боль оттого, что я все это видела, — эта боль до сих пор живет, и сейчас все ощущаю точно так, как тогда.

Мне, девятилетней, не надо было что-то объяс-

.....

7 Елена Климовна Каткульская (1888–1966) — оперная певица. С 1909 г. в Мариинском, в 1913–1946 гг. в Большом театре.

нять. Я каждый день это слышала: «Алешу Безобразова арестовали... Лешу Самарина опять посадили... Я сейчас относила передачи, их запретили...». Мы уже прекрасно знали — за что. Нас могли взять за дворянство.

Если бы нас арестовали, мы бы не удивились, так и ждали, что в любой момент. Но никогда ни пары носков, ничего не держали наготове. Будет — значит будет. Значит, на то воля Божья. Ничего не запасали. Ни сухарей, ни чемоданчика — ничего. Ни бабушка, ни мама. И когда папу в последний раз арестовали, его арестовали не дома, но если бы и дома, он ничего бы не взял, никаких узелков и чемоданчиков. В этом были внутренняя твердость и протест.

Когда умер Сталин — мама плакала. Она была в тот день на работе, и когда объявили, то все начали плакать, и мама тоже. И подошла к маме еврейка, которая знала, что папа сидит. Она спросила: «Ольга Дмитриевна, и вы плачете?!». Мама сказала: «Да, от радости».



Анна Клавдиевна

Среди друзей нашей семьи была чудная дама — Анна Клавдиевна Платонова, урожденная Розенкранц. У ее рода был замок в Латвии. Замок замком, а жизнь была чудовищная.

Все началось с того, что она молодой женой с новорожденным сыном на руках стояла на берегу, когда из Крыма уплывала врангелевская армия. И она знала, что на одном из кораблей ее муж Сергей, и старалась даже по выше на какой-то пригорочек залезть, чтоб ее было видно. А он в это время стоял на палубе и думал: «Она же должна здесь быть...». И уплыл. А она осталась с маленьким ребенком, ребенок потом умер. Всякие, как обычно, страсти: есть нечего, жить негде, ничего своего не осталось...

Потом Сергей Георгиевич Платонов попал каким-то образом в Шанхай, а из Шанхая его загребли сюда. Был какой-то момент, когда протянулись туда сталинские руки и захватили людей, живших даже в Китае. Отправили его на Крайний Север, в Нарьян-Мар. За-

брали очень надолго, до хрущевских времен. И вот Анна Клавдиевна, бедная, жила одна.

О, какие чудные у Анны Клавдиевны были воспоминания о ее родителях! По ним так ясно представляли отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой в старое время. Ее отец был тогда молодым преуспевающим архитектором, у него очень быстро и хорошо пошло дело. Он купил землю у монастыря Новодевичьего, на месте каких-то огородов, и построил дом для семьи.

У них подрастали три девочки. И когда в новый дом переехали, он извинился перед женой, что участок еще не успели украсить и привести в порядок. Ну, что делать, переночевали, утром проснулись, мама Анны Клавдиевны вышла на балкон, а во дворе — огромная цветущая клумба. Он нанял садовника и тот всю ночь сажал цветы.

А другой раз еще красивее. Отец стал получать большие заказы, причем складывалось так, что он мог одновременно строить не один, а два-три доходных дома. Когда дом сдавали, то, выражаясь современным языком, это событие отмечали — в ресторане, хорошим ужином, ну и архитектора, конечно, во главу стола. Однажды он приехал домой поздно и не очень трезвым. Мама ничего не сказала. Он второй раз вернулся в таком же виде, и тут мама сказала, что ей это не очень приятно, а он: «Ну, понимаешь, я же известный уже архитектор, круг важных людей собирается, мне там нужно быть...». Жена возразила, что она так не считает.

Когда он в третий раз пришел поздно и не очень трезвый, дверь в спальню оказалась заперта, переночевал он на диванчике, поджав ножки. А утром мама Анны Клавдиевны вышла к завтраку абсолютно как ни в чем не бывало. Отец тоже как ни в чем не бывало. Сели за стол, взяли салфетки. И вдруг мама заметила, что рядом с прибором что-то лежит. Открыла — там оказалось дорогое украшение. И больше отец никогда не приходил поздно и больше никогда — хоть сколько-нибудь выпивши.

Теперь вы понимаете, как жили?



1948 г.

Болезнь

Это было в Белоруссии, война кончилась уже. Я страшно простудилась, ехавши с мокрыми волосами из бани на открытой машине. Мне было шестнадцать лет, но я не видела бани до того — ну, так получилось. Я не знала, что, выйдя из бани, надо хорошо закутаться, ведь как на Руси кутаются обычно — охо-хо, только личико и видно! А я ничего не знала, села с мокрыми волосами на бортовую машину в сентябре и поехала. У меня были очень густые и совершенно мокрые волосы. И приехала с энцефалитом.

Этот сюжет поломал всю жизнь. Диагноз поставили только через девять лет. Не могли понять, что со мной: давление доходило до цифр сорок на двадцать, дикие головные боли, ужасная слабость, я не могла учиться в школе.

А до этого я хорошо в школе училась. Никогда на «отлично», потому что мне не нужны были пятерки. Мне было просто интересно учиться, и если была четверка — пусть будет четверка. И тем не менее, оказывается (об этом я потом узнала), учителя меня любили и ценили. И вот когда они увидели, что со мной что-то творится, ко мне подошла завуч и сказала: «Стин, мы видим, что вам трудно ходить в школу, я говорила с учителями, мы готовы ходить к вам на дом».

Я представила холодный, нищий, голодный подвал, в котором мы живем, и маму, которая не разгибается за машинкой, и мне стало как-то неловко. Я сказала, что очень признательна, но не надо.

И пошла в школу рабочей молодежи. Когда надо было идти в десятый, сказала: «Мама, если я пойду в десятый класс, я умру». И она поняла меня: «Ну, не ходи, если тебе так тяжело».

Учиться не могла, но хотелось что-то делать, тем более что натура была творческая, и я стала гулять по Москве. А тогда только две витрины были фотографические: в «Известиях» и в ТАССе. Еще не было теле-



визоров, и окно в мир — только в этих витринах. И вот набредешь на них, стоишь и смотришь. Там какие-то заседания, совещания, кто-то прилетел, кто-то улетел, демонстрации. А потом я начала задумываться, а как снято: вот тут так свет падает, вот тут по-другому. Оказывается, фотография — это очень интересно.

И я пошла в дом пионеров в фотокружок — я же еще по возрасту школьница была. Там уже был Фирсов — как звезда местного значения. Он меня совершенно не интересовал, хотя я и знала, что он хорошо снимает.



1949 г.

«Мы за мир!»

Хочу рассказать, почему я так сильно отделяю появление фотографии в моей жизни от всех моих ранних обстоятельств, мыслей, мечтаний и планов. Фотография появилась в момент, когда я тяжело заболела. Просто сокрушилась моя жизнь! Она потекла по совершенно неожиданному руслу, и отступить было некуда. Работать в штате я не могла, да и кем работать? Кое-как я владела фотографией на уровне кружка.

Правда, еще при Сталине, когда модно было ставить подписи «за мир», я возьми да и сделай такой снимок: пригласила соседскую старушку, посадила ее на стул, рядом с ней — девочку лет семи. Потом почувствовала, что за ними пусто, и повесила портрет Сталина. Снимок назвала «Мы за мир!» и послала его в «Московский комсомолец»; его опубликовали и пригласили меня прийти.

Я пошла с мамой, ведь детство было так близко, что как это я одна куда-то пойду? Прошло шестьдесят лет, а я помню этот разговор с заведующим отделом и помню его фамилию — Кашкадамов. И вот мы смиренно встали перед ним, а он говорит: «Мне понравился ваш снимок, вы давно ли снимаете? Хотите ли с нами посотрудничать?». — «С удовольствием». — «Значит, кто у вас там

папа, мама?». Мама говорит: «У меня муж в тюрьме». — «По какой статье?». — «Пятьдесят восьмая». — «Ага, сейчас, — набрал номер и говорит, — Что там в твоих этих талмудах 58-я статья? А? Ну да, ну ясно, ну понятно...». Опускает трубку и говорит: «Вы знаете, к сожалению, не удастся нам с вами поработать». Статья-то политическая. Мама с трудом даже машинисткой находила себе работу, а не написать, обмануть — опасно, могут за это притянуть и тоже посадить как за сокрытие.

Вот это была моя самая первая публикация — «Мы за мир!». Старушка, девочка и товарищ Сталин во всей красе — умеренно крупно за ними.

Игнатювич

Однажды приятельница-художница сказала: «Хочешь, я тебе дам записочку к Борису Игнатювичу? Боря очень хороший человек и прекрасный фотограф». И правда — Борис Всеволодович был чудный человек и замечательный мастер! Если он видел плохую фотографию в редакции, то говорил обычно: «А-а, Вера и Маша? Понятно...». Это означало, что фотография годится только в семейный альбом.

И вот я к нему пришла. Он взял меня в качестве ученицы.

Игнатювич тогда осваивал цветную фотографию, и я у него стала лаборантом. Составляла все проявители, закрепители, осветлители. До миллиграммов все взвешивалось самым тщательным образом, потом на кипящей воде все составлялось, потом, чтобы получить пробу (бумага же дорогая), мы отрезали кусочек от листа и обычно клали его наискосок, чтобы захватить траву, деревья, небо, чтобы все оттенки получить.

Потом ты вылезал из этой темной лаборатории, выходил к дневному свету, и уже было ясно, что прибавить или убавить. Я наловчилась различать малейшие нюансы цветов. Один отпечаток занимал не менее одного дня!



Борис Всеволодович был человеком очень интеллигентным, добрым, как раз у него была молодая жена в это время. Он жил в коммунальной квартире, и у него от большой комнаты было отгорожено метров восемь фанерной стеной, конурка, и там — лаборатория, в которую он меня пустил.

Маневры судьбы

И вот как-то печатаю очередную пробу при темно-зеленом фильтре в этой конуре — вдруг слышу: кто-то пришел к Борису Всеволодовичу.

— Здравствуйте, Борис Всеволодович!

— Здравствуйте. Может быть, вы представитесь?

— Мы бы хотели...

— Может быть, вы все-таки представитесь?

— Я — Алик Беленький, — говорит один.

Другой тоже представляется: «А я Фирсов».

«О, — думаю, — это ж наш Фирсов!»

Заканчиваю проявлять, они что-то его спрашивают, он что-то им с усмешкою отвечает, я выхожу. Боже! С Толей, по-моему, чуть инфаркт не случился. Оказывается, они два часа ходили вокруг дома и не осмеливались войти в подъезд к Игнатовичу, такая это для них была непреодолимая высота — классик, последний и единственный вообще на горизонте. И вдруг выходит девчонка, которую он прекрасно знает, из их кружка! Это как же серьезно она занимается фотографией, если у самого Игнатовича ходит, как у себя дома. Это его совершенно перевернуло. Он был как молнией убит.

И в тот день Толя пошел меня провожать. Так появился в моей жизни этот посланный Богом принц.

Принц выглядел так себе. Это был некрасивый, ужасно худой мальчишка. Ничем не достопримечательная личность. Мне с ним было скучно, я никогда не дружила со сверстниками, я дружила с маминими и бабушкиными подругами. Так что когда в



1950-е гг.

доме пионеров появились сверстники, я их не замечала, не обращала на них внимания никакого. И Толя так же ко мне отнесся там, в кружке, и правильно — какая-то девчонка, подумаешь.

Но встреча в доме у Игнатовича совершенно перевернула все его представление обо мне. Конечно, я никак не думала, что выйду за него замуж. Ну, мальчик из кружка, ну и пусть себе. Но когда он пошел меня провожать, то не отстал больше от меня вообще никогда. Мы стали вместе ездить на съемки, ходить и ездить на пейзажи, мы говорили только о фотографии и все, я пропала. Потому что знаете, как это у детей, у подростков бывает — уже как-то и интересно вместе, и не хватает друг друга. Еще и ни о какой любви, собственно, речь не идет, просто есть интерес. Конечно, это фотография нас соединила.

Я заметила только к старости: маневры судьбы совершенно непредсказуемы, угадать их невозможно, но, оказывается, они знают что делают! Нам кажется, что это какая-то глупость, случайность, несчастье, а все так и надо было...

Вот у Толи, конечно, было будущее predetermined — оператор. И, кроме того, он все-таки любил музыку классическую и понимал живопись, потому что готовился ко ВГИКу. И, безусловно, у него были задатки именно художественной природы. А у меня их не было.

Толе дар послан от Бога. Больше не от кого. И я, эта заболевшая девочка, была ему послана. Он ведь мог к Игнатовичу прийти или раньше, или позже и не увидел бы меня.

Потом я уже поняла, что это было гениальное водительство. Потому что, если бы не это невероятное знакомство, если бы не эта профессия, которую я получила, я, вероятно, действительно умерла бы инвалидом. Потому что помощи не было, лечить эту болезнь, кстати, до сих пор не умеют. Человек навсегда болен, у него все в организме распатано.



1950-е гг.

И еще мне повезло в том, что в пору нашего с Толей становления как профессионалов открывались издательства, и мы туда ринулись сразу же, потому что поняли: наше место там, а не в газете.

Меня несколько раздражала газета. Да, интересная работа, интересные люди, интересные сюжеты. Если любишь жить и работать, то все интересно. Но было несколько обидно, что ты стараешься, строишь свет, выводишь куда-то людей, думаешь, а назавтра уже в твою газету селедку завернут.

Мой спасатель



1952 г.

Толя несколько раз спас мне жизнь. На Белом море, например. Жили мы в Варзуге, закончили съемки, и знали, что идет корабль, но он идет по морю, а Варзуга стоит на реке, но скоро, примерно в пяти километрах, она впадает как раз в Белое море. Оттуда мы должны были плыть в Архангельск, а оттуда, естественно, в Москву. Сложили все вещи, сели, поехали. Сначала в Кузомень. Красота страха там, адская красота, если можно так выразиться. Заваленные песком домушки, кругом песок, такой мертвый, и тут же кладбище с высоченными крестами. Приехали мы туда

вечером, нам говорят: «Вон там дом, там можно переночевать». Пошли: брошенная изба, железные, без всяких признаков матрасов, койки, нельзя их назвать кроватями. И остатки крупной соли. Крупной солью солят семгу. Кстати, у нас была дареная семга, даже две штуки. И нам сказали, что надо сделать карманы, такие врезы, и насыпать туда крупной соли — тогда доведем до Москвы. Мы это сделали, ну и, как это ни печально — легли на эти кровати. А еще трудность была в том, что разбудить некому, а корабль очень рано подходит — часов в семь утра. Ну, худо-бедно, мы очень плохо спали, все спрашивали: «Не спишь?». — «Не сплю». — «Который час?» — «Четыре». — «А, давай вставать все равно».

Мы вышли, солнышко только вставало, красное такое, мрачное. Никого нет, полная пустыня, деревня спит. Даже ни одного дымка еще нет над избами. Ну, мы подошли к тому месту, где лодки стоят. Ждем-ждем – никого. И спросить некого. Наконец не вытерпели. Вдруг слышим: «У-уу!» — корабль. Думаем: что же делать? Солнце взошло, дымки уже зарозовели над избами. Смотрим, побежала какая-то бабка: «Ах! Нету?! Нету! Ах они окаянные! А мне надо деньги везти, ай-яй-яй, а я бухгалтер, мне зарплату надо брать! Ай-ай-ай-ай! Ах, сволочи, сейчас я их!». И исчезла. Через некоторое время здоровенные высокие мужики лет так тридцати пяти появились, красивые, стройные, на Юру Казакова по формации похожи. Молча прошли, завели мотор, мы сели и поплыли.

А надо вам сказать, что в то лето почему-то очень людоедствовали медведи. И по берегам ходили две страшные истории о том, что творили в это лето медведи. И чтобы нам как-нибудь их пугать, нам подарили ракетницу. Выглядела она как длинный картонный пенальчик с веревочкой. Он лежал у меня. Доплыли до моря, там отмель такая небольшая, приятная. Вот на нее нас высадили, все выскочили, а корабль уходит. И мы видим его спину — чап-чап-чап, уходит он. Что делать? И эта баба в ужасе, потому что ей нужно позарез за деньгами куда-то, и нам оставаться нельзя, у нас последние деньги на билеты остались. Куда деваться?

И тогда я вспоминаю — ракетница! Я ее достаю, веревочкой поворачиваю наружу, выдергиваю, чтобы выпустить как джинна из бутылки, она не выдергивается никак, в это время Толя поворачивается, выхватывает ее у меня и переворачивает. Оказывается, за веревочку надо дергать сзади — и она тогда вылетает как салют! А я тащила наоборот. Потом мне бывалые люди сказали: «Выжгли бы себе все внутренности». Я же еще и в живот уперла, чтоб удобнее.левой рукой держу, правой выдергиваю! Таким образом Толя спас мне жизнь.



* * *

Мороз оледенил дорогу.
Ты мне сказал: «Не упади» —
И шел, заботливый и строгий,
Держа мой локоть у груди.
Собаки лаяли за речкой,
И над деревней стыл дымок,
Растянут в синее колечко.
Со мною в ногу ты не мог
Попасть, и мы смеялись оба.
Остановились, обнялись...
И буду помнить я до гроба,
Как два дыханья поднялись,
Свились, и на морозе ровно
Теплело облачко двух душ.
И я подумала любовно:
«И там мы вместе, милый муж!».

Наталья Крандиевская
1–2 января 1918 года,

Между небом и землей

В Мукачеве мне надо было снимать для журнала «Здоровье» выездную медицинскую службу. Мне дали вертолетик и молодого врача. Крошечный вертолетик, самый первый — Ми-1.

Сели за спиной у летчика — доктор и рядом я, вот и вся команда. Да больше и места нет никакого. Поднялись, полетели. Высоко летим, домики — как спичечные коробочки. И вдруг я смотрю: яркая вспышка у летчика на щитке с приборами — замыкание явное. Потом вторая вспышка. А ничего же не слышно; оборачивается к нам летчик, показывает руками, мол, все в порядке, будьте спокойны, ничего такого особенного. Но мы же видим. И он туда сует какие-то облезлые провода, и каждый раз — вспышка. Починка на лету.



1960-е гг.

Посмотрела вниз — домики еле видны. Посмотрела на соседа — он зеленый совершенно, руки зажаты между коленками, дрожат, взгляд остановившийся, вперившийся в спину летчику. Попыталась было ему ободряюще улыбнуться — он меня не видит, остолбенел. Ну, думаю, как выйдет — так и выйдет, терпи. Ну и терплю. Летчик же чинит себе и чинит. А потом прошли искры, и долетели, сели.

А дальше никому уже не захотелось, ни мне, героической особе, ни доктору бедному, лететь на этом вертолете. Такое воспоминание не из легких — потому что понимаешь, что ты совершенно, во всех смыслах — в подвешенном состоянии.

Золушка

Танцовщица Олечка Силовская была очень обаятельна, мила, скромна, изящна, и весь облик ее совершенно забываем. Жила она с мамой, урожденной Гернгросс, в деревянном домике на Большой Никитской, в коммунальной квартире. Помню, их комната была просто увешана прекрасными семейными портретами в широких овальных рамах — они сразу говорили о том, что это дворянская семья.

Мама была несчастная, нервная, жить было не на что, потому что концерты, где выступала Олечка, плохо оплачивались, а никаких других источников не было. Но вот однажды Олечка шла по улице и встретила своего соученика. Он к ней бросился: «Как я рад, как я счастлив, что тебя нашел! Я на Дальнем Востоке служил, теперь в Москве». Стали друг друга расспрашивать, как жизнь, кто где. Он и говорит: «А знаешь, Олечка, я не мог жениться. Я всегда помнил тебя и всегда любил тебя. И никто не мог встать рядом с тобой в моей душе и в моей памяти».

Потом они куда-то пошли в кино, в театр, потом стали гулять, как это бывало, по бульварам. Наконец он сказал: «Ты разрешишь мне прийти к твоей маме и сделать предложение?». Олечка согла-



силась. Стали они ждать жениха, трепетали, волновались — и вот звонок в дверь. Олечка открывает, а там стоит... генерал. Оказалось, что этот молодой человек был генералом, прошел войну. И для них, для бедных, забытых, полуголодных, это было просто чудо. Мама, конечно, благословила.

И оказалось в довершение ко всему, что у него около «Динамо» прекрасная трехкомнатная квартира, и Олечка туда переехала счастливо. А дальше уже идет монолог моей мамы, которая сказала: «Как бы я хотела умереть так, как умерла мама Олечки!» А мама ее умерла совершенно неожиданным образом, она не собиралась умирать, не болела. Олечка сделала ремонт в той квартире и ждала, чтобы мама приехала посмотреть. Мама приехала, обошла все, порадовалась, села в кресло, вздохнула и умерла.

Совершенно сказочная история — от начала до конца!



1958 г.

Увидеть Россию

В 1961 году мы с Толей оказались на берегу Оки. Там была турбаза. Ее построил богатый тульский завод для сотрудников, и нам предложили сделать фильм об этой турбазе. Мы согласились и заняли у кого-то профессиональную кинокамеру, «КС» называлась. Она была с турелью, это замечательная вещь — как у автомата круг такой, и в нем — три объектива, и одним движением можно было их менять.

И вот когда мы начали снимать на Оке, я вдруг поняла: да ведь Россия уходит! Боже мой, все уходит: уходит деревня, уходят лица, уходят свидетели эпохи. Надо их снимать! Надо пойти по России, а вместо сумы взять с собой кинокамеру и снимать все и всех.

И мне стало все равно, какие будут условия, насколько это вообще возможно при полном отсутствии денег. Я только понимала, что это надо делать. Соглашаться на плавленый сырок в течение дня, но снять, удержать Россию, пока она не ушла. Пока рядом поколение, заставшее жизнь до-революционную.

Мне еще очень важно было вот какой вопрос для себя решить: дома я всегда слышала, что дворянство прекрасно относилось к крестьянам, что Салтычиха — большая женщина, которую правильно сделали, что посадили в сумасшедший дом, а что в принципе преобладали отношения внимательные, участливые, и, когда возможно, помешки во всем крестьянам помогали.

Это я все слышала, но мне было интересно послушать и другую сторону. И вот когда мы начали выбираться из Москвы, я стала жадно расспрашивать крестьян, прекрасно помнивших барыню и барина. Они рассказывали, какие были отношения, как все это было.

Однажды мы сняли комнатку у бабки в деревушечке маленькой под Подольском, да и называлась она — Меньшово. И вот старушка нам все показывала. Оказывается, на месте пустыря был храм, сияли «кумполо», и росли очень красивые цветы. И барыня их очень любила, народ сюда приходил по праздникам, чтобы петь и плясать, а барин и барыня выходили и смотрели, а затем одаривали деньгами. Был парк липовый чудесный, жужжал пчелами и шмелями, а уж запах какой стоял — на всю деревню! Это было когда-то имение, но от него ничего не осталось.

Я много сюжетов таких помню, в лицах, со словами и рассказами. Снимать это как-то не казалось мне интересным, мне скорее хотелось записывать, слушать.

Я застала дивные наречия. Вокруг еще говорили «тутотка», «тамотка», и это было для меня как музыка Бетховена. Я с жадностью слушала, запоминала, а потом записывала в тетрадь на скорую руку.

Мы снимали Белое море, а там такие удивительные деревни, церкви, люди. Огромные великолепные избы, каких тут, в центральной России, не было. Чудно все было для меня и близко, понятно, интересно. Речь на Севере особенная, «оно течет как ручуёк, её не остоновишь». Архангельские-то — они окали, говорили: «Орхангельск», «овтобус», «Олександрушко».

Одна женщина в Варанге сказала мне, что раньше «у каждой жёнки — своё, у каждой деуки — своё, сойдутся-разойдутся — как цветы на снегу». Имелось в виду, что все были одеты по-разному и красиво. «Сойдутся-разойдутся» — для меня это музыка, ничем не заменимая, и фотография мне не заменила эту фразу, с которой я живу всю жизнь.

Как-то одна моя подружка-старушка (а у меня все старушки были мне подружки) рассказывала: «Раньше-то мы штанов-то не носили, юбки-то длинные, а все холодно, а потом когда штаны-то увидели да надели, говорим: «Спаси, Господи, того кто их изобрел, потому как ой как хорошо-о! как тёпло!».

Мне хотелось соединения человека и его слов, его судьбы и образа, но образ у меня был на втором месте. Для меня самое главное было — слово, душа, голоса.

В этом ключе у нас вышел альбом «Ладога», там монологи очень хороши, на мой взгляд, я их очень люблю. Но как жаль, что не было магнитофона. Это был бы озвученный Даль!

Старушка одна нам рассказывала, что, когда началась война и уже появились близко немцы, их возили на кораблике. «Утром вышли — Ладоги не видно, туман. Как во снах плывем». Мальчик спрашивает: «Бабушка, мы в глубокий тыл едем? В глубокий?..». — «В глубокий-глубокий», — говорю...». А плыли за двенадцать километров.

Мы снимали ее необыкновенные руки, совершенно искаженные колхозной работой. Она говорила: «Я-то руки заобряжаю». То есть закрываю, прячу. «Как-то врач-то пришел, посмотрел на мои руки, говорит: «Да такие руки целовать надо».

Это единственный альбом, когда нам сказали в издательстве: «Поезжайте и снимайте все, что хотите». Все остальные альбомы были так или иначе цензурированы.

Однажды в 1980-е годы знакомый наш замечательный фотограф, — наверное, лучший в ту пору, — Всеволод Сергеевич Тарасевич⁸ сказал, что приезжают английские издатели, хотят посмотреть наши работы, а потом, может быть, закажут книжку. Мы схватили проектор, слайды и пошли. Они опоздали, и сильно, но не извинились, а посмотрели на нас как на стенку, прошли и сели. Мы стали показывать слайды, и когда дошли до этого сюжета (речь идет о фотографии «Дороги России» — Д. Ш.), они, не стовариваясь, дружно захохотали, причем правильнее сказать, заржали. И в этой реакции мы все

.....
⁸ Всеволод Сергеевич Тарасевич (1919–1995) — во время войны был фронтовым репортером ЛентАСС. Классик советской фотожурналистики.

прочитали: «Идиоты, недоумки! Мало того, что они по этой гадости ездят и называют это дорогой, они еще и любят ее!».

Если уж говорить, за что нас Запад не любит, то именно за это. Им кажется, что мы все недоумки, дикари, что мы неряхи. И поэтому они не могут понять, откуда у нас лучшие писатели, прекрасная архитектура, высочайшая поэзия...

*Пускай все это и уныло,
И некрасиво, и бедно,
Пусть хорошо все это было
Знакомо нам давным-давно, —
Налюбоваться не могли мы
На эти ровные поля...
О север, север мой родимый,
О север, родина моя...*

К.Р.

(великий князь

Константин Константинович

Романов)



Характеры

У нас совершенно разные характеры. Для Толи важно снять и бежать куда-нибудь дальше, а у меня каждая тема куда-то прорастала, расширялась, ветвилась. А Толя, — чик! — и готово. «Куда тебя несет?». — «Я все отснял, я уже ничего не вижу!».

Везде, где мы были, мне хотелось задержаться. Хотелось тишины и углубления, а Толя — репортер, ему бы по верхам, как воробью, — пам-пам-пам! Он устроен очень по-детски, поэтому всякие дальние прицелы ему противны. Толя никогда не любил журавля в небе, а я только этим прожила всю жизнь.

Мне на роду написано быть более обстоятельной, степенной. Но при этом мои предки казачьи все время требуют либо шашки, либо какого-то огнестрельного оружия.

Блеск Толи — в репортажной съемке. Например, когда Толя был в Мексике, то он снял последний гол Пеле!

У него там вратарь летит в воздухе, виден мяч летящий и уже вскочивший от восторга стадион.

А для меня люди важнее съемки. Если я где-то застревала, с кем-то начинала разговаривать, он раздражался, торопил меня. И вот таким образом и сорвал меня со всех якорей. Вот и приходилось мне бежать за ним. Особенно это тяжело, когда снимаешь книгу. Книга требует полной отдачи. Вот мы еще не сняли всю ее, а я ее уже вижу. Для меня важна какая-то аура, в которую мне хотелось погрузиться.

Но при этом в том, что касается съемки, разбора снятых фотографий — в этом у нас с Толей полное единомыслие. В этом нам очень повезло. Ведь в фотографии, как и в любом другом виде творчества, обычно кипят разногласия. А у нас их нет.

Когда мы сделали развеску нашей выставки, то ходили по ней и говорили друг другу: «Слушай, какие хорошие фотографии». Причем мы удивлялись даже. Вот такое чувство отстраненности возникло у нас вместе.



1950-е гг.

Всегда вдвоем

На съемке мы всегда вдвоем. На одном какие-то камеры висят, на другом, и вот мы бродим где-то в видимости друг друга, там, где нам хочется какой-то пейзаж снять, какой-то памятник или монастырь, подходим друг к другу, отходим и часто бывало так, что зовем друг друга: «Подойди-ка сюда!». Подходим: «Ну как тебе, посмотри?». — «Не-а, нет». И все без споров.

Даже последнее нажатие затвора мы в какой-то мере делаем вдвоем. У одного висит камера 6x6, у другого, допустим, 9x9. И вот мы бродим, ходим и снимаем один и тот же сюжет. Потому что ведь едем вместе, идем вместе на какой-то сюжет, бывало и так, что мы не замечали, кто, собственно говоря, этот кадр снял. Вот, допустим, я сняла, а потом подошла на несколько шагов к Толе и думаю:

«Нет, вот эта точка у него лучше». «Ты уже снял?» — говорю. «Я уже снял». — «Ох, как хорошо! Значит, и я сейчас тоже». Совпадали у нас все — видение, чувство композиции, цвета, света. И это нас, конечно, просто спасло. Мы чувствовали себя малой киногруппой. Мы и режиссер, и оператор, и декоратор, и осветитель.

Если бы один из нас бежал-кричал, а другой бы гулял и смотрел на облака, то мы бы просто пропали, расстались и не смогли бы работать. А так у нас было совершенно одинаковое состояние целенаправленности. Это невероятно, учитывая разность темперамента, но факт.

И когда летали на вертолете, брали друг у друга камеру, объяснялись пальцами — потому что трещит же, ничего не слышно. Ну, ничего, работали как-то. Я помню, мы летели над Волгой в районе Углича. Думаешь: вот сейчас туда плюхнешься. Но не плюхнулись — значит, не время было.

Мы вместе обожаем высоту. Мы часто рисковали, но все равно летели, лезли, перлись на любую высокую точку, где только можно.

Однажды снимали с вертолета. Как обычно, на земле мы утеплились, потом залезли в вертолет. Сняли нам дверцу, чтобы она нам не мешала, не болталась, на земле ее оставили. Нас пристегнули, и мы полетели. Сидим на сиденьях, но мне кажется, как будто сижу на идеальном кубе льда. Как я все это вытерпела, как не вымерзли все внутренности, ведь летали мы довольно долго — двести метров над землей, и ветер сильный. Мы снимали-снимали, наконец опустились, летчик радостно говорит: «Ну как?». Я говорю: «Да все хорошо, но вы знаете, как же мне было холодно сидеть». — «Ах, это я болван! Вы же на печке сидели, я забыл ее включить!»

А вот снимок, сделанный в Суздале с колокольни Ризоположенского монастыря⁹. Колокольня очень высокая, да еще дышать трудно на таком морозе. Но — долезли, сняли и были очень счастливы.

Что еще дает любое творчество и фотография в том числе? Это радость самого творчества. Особенно,

9 Ризоположенский монастырь — один из древнейших монастырей Руси, основанный в 1207 году и расположенный в северной части Суздаля недалеко от древнего кремля и реки Каменки. Снимок называется «Минус 32 градуса по Цельсию. Суздаль. 1970 г.».

когда вы чувствуете, что идет, что получается! Мы всегда чувствовали себя профессионалами, даже когда не очень-то имели на это право.

У нас есть снимок: храм в Бёхово с радугой. Так это мы просто шли-шли, туман, дождь, ничего не видно. И вдруг на этом мрачном черном, унылом небе — огромная прекрасная радуга, а мы дошли как раз до церкви. Так и получился такой запоминающийся, всех радующий кадр, в котором не надо было ничего подправлять.

Мы, конечно, не знали, когда выходили на съемку, будет радуга или нет. Но мы знали по опыту: иногда что-то «включается». Вот идешь мрачный, полная скука, тоска. И вдруг — как будто включили прожектор. Причем обычно очень ненадолго, на какие-то несколько мгновений, даже не минут. И если ты успел, то все — кум королю. И радуешься. Потому что можно ходить и сутки, и двое, и трое — и никакой радуги не будет.

Но надо ведь еще увидеть это мгновение! Вот снимок «Мокрая тропинка», помните? Только что прошел дождь. Тропинка, полная воды, просто как ручеек, и в ней отражается небо. А вдали — рыжий лес. Снимок построен по диагонали, и эта диагональ дает направление взгляду, а небо — силу, а замыкает все это название.

Как-то раз мы с собой в Щельково взяли ученика, идем-идем, а он и говорит: «Почему мы все идем, а ничего не снимаем?» — вроде и есть на что посмотреть, а нечего. То есть пока мы не убеждены, что это — о! — мы не снимаем. Главное, чтобы все соединилось воедино: свет, композиция... В этом и есть совершенство снимка.

Мы очень любим осень, я особенно любила голую осень. Не золотую поленовскую, а когда листья упали все, их сдуло, и земля приобретает цвет лиловый, это — такое чудо, вот так и любишься...

Я очень чувствую цвет, и для меня он очень важен. Был замечательный человек, художник средний, но человек замечательный. И как-то мы с ним шли по переулку, прошел дождь, и вдруг он мне говорит: «Посмотрите, какой асфальт!». Он немножко в нос говорил, несколько так по-французски. И я говорю: «Мокрый». «Нет, ах, нет! Он голубой!» И правда — голубой, такой же, как наша тропинка.

Бунин

Бунин — это все мое. Я очень люблю Пушкина, очень люблю Лермонтова, очень люблю Толстого, Гоголя — искреннейшая радость, как будто это родня твоя! Но когда дело доходит до Бунина — тут уж особое отношение. Тут у меня отношение к нему прямо-таки родственное.

У меня чудное свойство, не подумайте, что я хвастаюсь, я просто сама радуюсь ему: я не влюбляюсь ни в актеров, ни в писателей, ни в красивых мужчин. Я отдаю им должное, я думаю: ох, какой молодец!

Будь Иван Алексеевич жив-здоров, будь мы с ним сверстники или были бы мы хорошо знакомы — ничего бы мне не грозило и ему тоже. Ни какого-нибудь пошлого романа, ни страсти — не было бы этого. Есть чувство благодарности, радости, гордости. Чудный, чудный писатель! Дай ему Бог и на том свете, если можно, отпущения грехов, заблуждений, ошибок и всего прочего.

Толя тоже его обожает. Он, когда был в Орле в музее, выпросил там померить и снялся — в пробковом шлеме Бунина!

* * *

*Леса, пески, сухой и теплый воздух,
Напев сверчков, таинственно простой.
Над головою — небо в бледных звездах,
Под хвоей — сумрак, мягкий и густой.
Вот и она, забытая, глухая
Часовенка в бору: издалека
Мерцает в ней, всю ночь не потухая,
Зеленая лампадка светляка.
Когда-то озаряла нам дорогу
Другая в этой сумрачной глуши. ..
Но чья святей? Равно угоден Богу
Свет и во тьме немеркнувшей души.*

Иван Бунин

Пушкин

Когда я в первый раз приехала в Михайловское, у меня было чувство, что я приехала в имение к своим родственникам или знакомым, и сейчас они меня встретят. Никакого безумного благоговения, нет. Александр Сергеевич для нас — родной человек. И молодец — гений!

*Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.*

*Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.*

Пасха

Приблизительно 1947 или 1946 год.
Папа сидит еще на Лубянке.

Вот Алексей Баталов говорит: «Я — дитя войны. Хотя я не воевал, но все, что вокруг, настолько повлияло на меня, что я — дитя войны. Я оттуда». А мне мало того, что вся война досталась, так еще и вот эта тема, которая была еще более важная и сильная, чем война. Потому что она на глазах уносила близких.

Так, значит, папа сидит. Пока сидит, раз в десять дней можно носить передачи. Надо, чтоб было из чего. Маме платят копейки. Ей платили 360 рублей в месяц, а одна буханка черного хлеба на рынке стоила 120. Как можно вообще жить? Были какие-то карточки, по ним тоже какие-то крохи давались, но мы были постоянно голодны. Постоянно.

Папе поначалу пытались сделать дело групповое, это бывало обычно самое страшное. Сажали двоих-троих знакомых и выбивали из них признание, что они группой собирались, к примеру, Кремль подорвать. Полный абсурд. Ну и папу тоже предъявляли как главную

персону, а к нему прикупили, как в картах говорят, нашу близкую, замечательнейшую приятельницу, художницу Катю, и инженера знакомого. Так их втроем в одну ночь и сгребли. Но, как ни странно, не вычислили они степень силы интеллекта, потому что отец был чрезвычайно умен и чрезвычайно культурен. И такова же была эта художница Катя.

На них испробовали все: и голод, и побои, и бессонницу, и карцер. Папе перебили нос, пальцы были переломаны пресс-папье мраморным. Много чего там успели, и это не считая того, что впереди этапы, впереди поездка в этих столыпинских вагонах... К полному нашему недоумению инженера и художницу Катю выпустили. Мы просто не верили своим глазам, так были счастливы.

Катя прибежала, конечно, первым делом к нам. И так же начала бедствовать, как и мы. Потому что художник она была средний; сама смеялась и говорила, что у себя в семье рисовала хуже всех, но оказалась единственной, кто стал художником. Она работала в «Крестьянке» и «Работнице», были такие жалконькие журнальчики. Платили тоже какие-то гроши, но уж как-то ее знали, какую-то работенку все-таки давали. Жила она в еще более глубоком подвале, чем мы, и голодала, как и мы.

Общаться нам было совершенно не с кем, все знакомые разбежались моментально, как только папу посадили. И мы никак не обижались, потому что знали, что даже прийти к знакомым нельзя лишний раз — тут же загребут и скажут, что вот, пожалуйста, вам еще курьер от английской королевы. И мы с мамой остались в голоде и холоде, без никого. Слава Богу, хоть Катю выпустили, общаться можно.

Я приходила к ней в гости на улицу Каляевскую. Я Кате очень многим обязана, потому что она мне рассказывала и Библию какими-то кусками, и много очень читала стихов, и какие-то вещи шуточные... Катя очень много мне дала, потому что если папа и мама знали все, то Катя знала в десять раз больше.

Катя была намного старше меня; я ее по имени называю потому, что тетями и дядями было принято называть только действительно тех, с кем в родстве состоишь, а так называли или по имени, или по имени-отчеству. По-настоящему Катя была баронесса, звали ее Екатерина

Альбертовна Хомзе, она была родом из Кяхты, из миллионерской семьи.

Кяхта замечательна тем, что в крошечном городке было 18 миллионеров. И вот одна из семей как раз была Катина. Совершенно особое давалось им воспитание, во-первых, сказывалось влияние декабристов, хоть, казалось бы, дело давно было, однако это очень сказалось на всей Сибири, и в Кяхте в частности. Такой несколько вольный дух был. Образование в основном получали дома, то есть нанимали сначала тех же декабристов, а потом кого-то другого, но широко образованных людей, которые детям давали больше, чем может дать гимназия. Кроме того, были клавиры. То есть была опера, а для того, чтобы ее можно было в свое удовольствие проиграть на пианино дома, допустим, или на рояле, есть клавиры — ноты переключались специально для этого. Но при этом все слова, все партии сохранялись. И вот Катя мне рассказывала или исполняла все подряд — от «Евгения Онегина» до «Кольца Нибелунгов». Она исполняла все, со всеми словами, всеми партиями, мужскими или женскими. И я тонула в блаженстве, мне не надо было никакого Большого театра, куда нельзя было попасть — ни по нашим деньгам, ни по нашей одежде. И поэтому Катя была для меня все: и театр, и учитель, и философ.

Был мальчик-татарин, он прибежал, в открытое окно заглядывал, у него была круглая голова, такой мордастый, и говорил: «Хлеба надо!». И Катя ему давала печенье. Потому что он, оказывается, хлебом называл печенье. Много не получал, но одно получал и опять убежал.

Когда я к ней приходила, то обычно и ночевала у нее. Катя доставала такой серенький носовой платочек, а в нем — кусочки сахара маленькие. Когда она пила чай с сахаром, то, что там можно было от себя выкроить, откладывала мне. От каждой трапезы. В результате там могло быть до десяти таких вот кусочков, крошечных. Мне хотелось плакать, когда я видела эти кусочки, завязанные в платочке. Я никогда их не забуду. Потому что большей жертвы просто нельзя себе представить. На Страшном суде, наверное, если можно, эти кусочки сахара подложу Кате.

Вот вам и Пасха моя.



1950-е гг.

Некому было у нас колоть дрова, пилить. Мама все время на работе. Страшно мне было тяжело, девчоночке. Мне было двенадцать-тринадцать лет. А дрова еще надо купить. Потом стали давать талоны. По талонам дрова выдавал косноязычный Володька. Когда моя очередь подходила и я перед ним оказывалась, он давал мне мокрую осину. А когда приходили люди порасторопнее, то тут находилась береза.

Очень трудно растапливать мокрые дрова, они шипят, не горят. А еще пилить их было надо, бревна-то были метровые! А у меня была только двуручная пила, и я одна; пила застревает, гнется, а ты пилишь. Топора у меня не было, был колун, который я с трудом поднимала, и вот этим колуном я колола дрова.

Однажды на углу Гагаринского и Староконюшенного я услышала надрывный голос человека лет тридцати пяти с хорошим лицом, который кричал: «Мещане! Мещане! Сволочи! Убейте меня, сволочи!». Он был трезв. То есть было понятно, что человек доведен до полного отчаяния. А прохожие все прижали уши и побежали, потому что — что тут сделаешь: он явно не сумасшедший, хорошее лицо, просто человек дошел до полного отчаяния. Он уже не мог выдержать этой жизни.

У меня были приятельницы школьные, близнецы, и я знала, что почему-то они часто оставались убирать класс. Все уходят, а они остаются убирать класс. Никто их не заставлял, и за это не платили, на общественных началах. Почему остаются — я не задумывалась. Много лет спустя одна из этих близняшек говорит мне: «А ты помнишь, что мы с Галей оставались убирать класс? А знаешь почему?». Нет, говорю, расскажи. «А можно было открыть парту, а там — надкусанный, даже почти целый бублик лежит». Я была поражена: «Как? Мы голодали, а кто-то бросал бублик?». Это звучало неправдоподобно. Забыть бублик невозможно, если ты все время голодный.

Еще помню: я сидела с одной девочкой, ее звали Фая. И эта Фая что-то жует. Спрашиваю тихо: «Фая, что ты ешь?». И она говорит: «Косхалву». Она была такая тягучая, молочного цвета, с грецкими орехами, вкуснятина! Продавалась в магазине на Арбате, «Восточные сладости».

сти» он назывался. И я думаю: «Сколько ж я ее не ела?». И говорю: «Слушай, дай мне маленький кусочек, просто вспомнить вкус». Знаете, она мне дала кусочек. До сих пор жалею, что взяла. От растерянности, наверное. Кусочек этот был приблизительно со спичечную головку.

Одна минута

...Вот вы сказали сейчас два хороших слова — «уважение» и «деликатность», они сейчас полностью исчезли. Никто и ничего не уважает, и никто не знает, что такое деликатность. Я, например, считаю, что неделикатно захлопывать за человеком дверь и оставлять его одного на лестничной площадке. Хотя у нас ничего не происходит, пока никто не нападает, все чисто и спокойно. Но это же буквально одна минута — дождаться лифта! Желательно даже нажать кнопочку лифта, улыбнуться гостю и отправить его вниз. Ведь и в этом — удовольствие общения, удовольствие доставить удовольствие.



* * *

*Собирая любимых в путь,
Я им песни пою на память —
Чтобы приняли как-нибудь,
Что когда-то дарили сами.*

*Зеленеющей тропой
Довожу их до перекрестка.
Ты без устали, ветер, пой,
Ты, дорога, не будь им жесткой!*

*Туча сизая, слез не лей, —
Как на праздник они обуты!
Ущечи себе жало, змей,
Кинь, разбойничек, нож свой лютый.*

*Ты, прохожая красота,
Будь веселою им невестой.
Потруди за меня уста, —
Наградит тебя Царь Небесный!*

*Разгорайтесь, костры, в лесах,
Разгоняйте зверей берложьих.
Богородица в небесах,
Вспомяни о моих прохожих!*

*Марина Цветаева
17 февраля 1916 года*





рассказывает

АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ФИРСОВ





1960-е гг.

Среди цветов и бабочек

Моя детская жизнь, как и у всех моих ровесников, состоит из двух совершенно разных частей — довоенной и военной.

Довоенное детство — это прекрасное поле, цветы, порхают невиданные, которых сейчас только в Красной книге найдешь, бабочки, стрекозы, кузнечики. Все это дышит, роится, и кажется, что иначе и жить нельзя, как только бегать среди цветов и бабочек.

Наш деревянный дом стоял на шоссе Энтузиастов. Хороший дом, крыльцо с резьбой металлической. А во дворе были старенькие, со щелями сараи. Мы в них играли в войну. Лазали по крышам, стреляли, и я, как все наши мальчишки, старался быть командиром.

Я смотрел «Чапаева» сорок три раза. Тогда у меня и проснулся интерес к кино. На ленте кассового аппарата — знаете, такая белая лента? — я рисовал кадры из фильмов. Это я сам придумал себе, никто не подсказывал, хотя отец был фотолюбителем еще с дореволюционных времен.

Папа, Оливье и кремлевские приемы

Деревенским мальчишкой (еще до революции, естественно) он попал в Москву. Его взяли в школу «Эрмитаж» — французскую школу, где готовили кулинаров. Среди преподавателей был тот самый Оливье, именем которого назван салат. И отец стал очень хорошим поваром. В семнадцать лет он уже работал в Сельхозакадемии, кормил преподавателей и студентов. В 1910 году студенты взяли его на похороны Льва Николаевича Толстого.

Потом отец перешел в ресторан и там имел зарплату в 75 рублей. Это бешеные деньги, капитан в армии столько получал. И папа, будучи человеком трезвым и холостым, великолепно одевался. У него были каракулевый воротник, шляпа, трость. Одевался как денди. Часы золотые фирмы «Павел Буре», такие громадные. Очевидно, тогда он купил и фотоаппарат.

После революции в ресторанах отец уже не работал, но тем не менее был на виду, и когда были приемы в Кремле, его брали туда. Именно брали: приезжала машина и папу как бы арестовывала. В Кремле он оставался пять-семь дней до приезда делегаций, каких-то высоких гостей. Мы уже и не пугались, ведь это случалось каждый год. Кроме того, когда папу обратно привозили, то у него была путевка на отдых или премия. Так что он возвращался героем.

Чудеса в корыте

Как-то отец подарил старшему брату (он меня старше на восемь лет, большая разница!) фотоаппарат «Фотокор», девять на двенадцать. Этим аппаратом можно было снимать только со штатива. Иногда брат разрешал мне нажать на тросик, когда уже все наведено, кассета поставлена: «Вот, сейчас... подожди... теперь нажимай!». И я — оп! — нажимал. И, значит, считал себя причастным к искусству фотографии.

В одной из сараюшек мы с братом устроили фотолaborаторию. Брат там ставил ванночки, разводил фиксаж, приносил готовый проявитель.

Когда мы закрывались в сараюшке, то в фонаре красном горела свеча, ведь электричества никакого не было. И вот при этом фонаре мы проявляли пластинки. Это казалось чудом — когда из ванночки появлялось дрожащее изображение! До сих пор помню запахи проявителя, фиксажа — это были чудесные запахи, лучше духов.

Немного позже, в период уже серьезного фотолюбительства, я печатал дома. Фотографии промывал в долбленом деревянном корыте. Этому корыту бабушкиному было уже сто лет, но оно исправно служило. И тут вдруг бабушка заметила, что оно почти протекает, какие-то выбоины появились. Бабушка меня обожала, но сразу переложила вину на меня. Такое хорошее корыто из-за моей несознательности пришло в негодность!

Костры 1941-го

Про войну я услышал по радио. В этот момент все были дома: родители, мой брат с приятелем. Я стоял у окошка. И вот объявили войну. Брат с приятелем сразу повеселели, а мне стало страшно. Я смотрел в форточку на улицу и плакал. Хотя, во-первых, еще ничего непонятно было, во-вторых, нам внушали, что «если завтра война, если завтра в поход...». А в-третьих, все дети любят войну, не понимая, что такое война. А мне было ровно десять лет в сорок первом. Моему брату — семнадцать. (Он относительно благополучно кончил войну: под Сталинградом его контузило, разрывной пулей оторвало указательный палец, его комиссовали, и он очутился дома.)

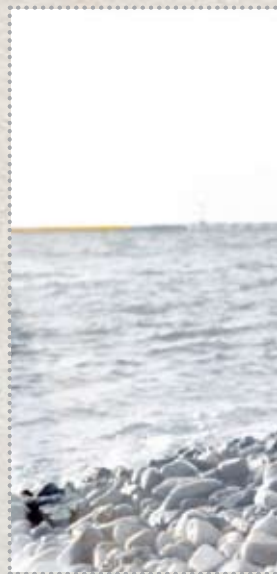
Отец стал инструктором в армии. Надо же было готовить поваров для фронта. А я был с бабушкой и мамой. Меня вывезли месяца на полтора в деревню в октябре 1941-го, тогда была страшная бомбежка.

Помню, 16 октября, когда все разбежались, всюду на улицах и у нас во дворе жгли книги. Рядом были книжные магазины, и жгли классиков марксизма-ленинизма, Сталина даже. Всё в кучу. Огромные костры. И в этом огне были великолепные книги. Я углядел там подарочное издание Шота Руставели, «Витязь в тигровой шкуре». Прекрасная книга в кожаном переплете, я ее выхватил из огня и утащил домой.

К тому времени, к десяти годам, я уже много читал. У меня были практически все выпуски «Фронтовой иллюстрации» — благодаря тому что у нас под окном был газетный деревянный киоск. Время было уже голодное, но так как я с детства привык к сладостям, то «основная» еда меня мало интересовала, я ел немножко, и как-то голода не было. Пайку черного хлеба я отрезал, граммов семьдесят. Отрезал, заворачивал и шел в этот киоск. Я отдавал этот кусочек хлеба, а киоскер говорила: «Вот вы просили... вот я вам оставила». Ко мне, мальчишке, она была на «вы»! Киоскер протягивала мне завернутый в газету сверток, на 3 рубля 50 копеек, тогда смешные деньги. А в свертке были все издания, связанные с войной: листки, иллюстрированные газеты. И я с радостью хватал это, изучал. «Советский экран» выходил еще какое-то время. А детские журналы я никогда не читал.

Во дворе у нас было бомбоубежище. Взрослые его сделали — два наката, бревна, а так как дом наш маленький, бомбоубежище было рассчитано на восемь-десять человек. И вот как-то в один из дней нас стали бомбить и рядом бомбы начали падать. Я помню, коптилка у нас погасла, потому что все дрожало, посыпалось все. Упали три бомбы рядом. В соседний барак попала одна бомба, там кто-то погиб. И так как барак был с известкой сделанный, то распространился страшный туман от этого, пыль. Заволокло все... Считаем «раз, два, три...» — и тишина. После «раз-два-три» ты уже понимаешь, что бомбы не будут падать и через три-четыре минуты можно выходить.

И вот я, когда вышел и посмотрел: дом таял как в тумане, а занавески развевались. Я подумал: «Ну, все, нет у нас дома!». Но пыль осела, я вошел в дом и увидел: как будто обыск был. Перевернуты ящики с книгами, с моими журналами — взрывная волна прошла. И все валялось на полу, все перевернуто. Осколок бомбы пробил деревянную стену, прошел спинку дивана, влетел в комнату, — там была перегородка такая, знаете, фанерная, — пробил эту перегородку, а в следующей комнате стояла большая икона моей бабушки — Николай Угодник в окладе красивом. И этот осколок попал в оклад и тут же упал. Небольшой осколок, сантиметров двенадцать, но я его долго хранил.



Моряк

Во время войны я стал ходить во дворец пионеров, но не в фотокружок, а в военно-морской, так как мы с моим другом решили, что, конечно, будем моряки, поступим в военно-морское училище. И до самого 1945 года мы занимались морским делом, стали морскими волками прямо. Плавали в Химках, шлюпки там у нас были.

Когда тебе четырнадцать лет и тебе дают значок «Отличник Военно-морского флота» — это ого-го! Кроме всего прочего, мы овладели семафором. И настолько хорошо, что стали чемпионами страны по флажному семафору, по передаче и приему. У нас была форма, бескозырки, мы ходили в форме, отдавали честь, хоть это и было самозванство.

И вот в это время я понял, что фотография — это очень интересно. Во мне проснулся репортер. Не просто снять Петю или Маню так, на карточку, а успеть снять событие! Мой «морской» преподаватель почувствовал мою тягу и однажды повел меня в фотокружок. И сказал: «Вот Толя, моряк он у нас, но хочет заниматься фотографией».



1960-е гг.

Прелюдия Колюбаева

Первый фотограф-профессионал, которого я увидел, это был Колюбаев. Увы, не помню его имени-отчества. Школьные послевоенные каникулы я проводил в пионерских лагерях. А Колюбаев приезжал с лейкой второй модели (это лейка без сменных объективов), чтобы снимать детей. Он так подрабатывал. Снимал он не только группы и отряды, но и жизнь пионерского лагеря. Мы на речке, мы на зарядке, мы на линейке. И это было для меня откровение! Ведь до этого я думал, что фотография — это когда люди стоят и смотрят в объектив. А тут — жизнь! Я просто с восхищением смотрел на Колюбаева, на то, как он снимает, на фотографии — как они хороши.

Колюбаев — это прелюдия к моей будущей жизни фотографической. Я до сих пор с удовольствием смотрю на его снимки. На одном из них кто-то из ребят купается, кто-то выходит на берег, а я стою и обтираюсь полотенцем. Смешной довольно-таки кадр, но до этого я таких репортажных снимков не видел. Причем это были высокопрофессиональные снимки, очень четкие, резкие, напечатанные на хорошей бумаге. Коричневая бумага, немецкая. Ничего им не сделалось, до сих пор живут. Смотришь на них и думаешь: вот она, история. Ты видишь время. Как люди одеты или... раздеты.

Сейчас вот наши друзья, ученики смотрят на наши фотографии и говорят: «Неужели это было? Теперь этого уже нет нигде!». Люди смотрят и видят какое-то другое время.

И вот после пионерлагеря, после Колюбаева я стал обращать внимание на фотографии, которые выставлялись в витринах ТАССа, в «Известиях». Вот там были фотографии! Как снято! До сих пор помню снимок вратаря: снято снизу, он в воздухе летит, тут же — сетка, ворота, а за ними нерезко — полный стадион болельщиков. И я подумал: вот это да, вот это снимок!

Как мы с Тункелем снимали Пришвина

Еще учась в десятом классе, я пришел работать в «Огонек» внештатным фотокорреспондентом. И оказался рядом с Дмитрием Николаевичем Бальгерманцем, Олегом Борисовичем Кноррингом, Семеном Осиповичем Фридландом — великими мастерами! А я — мальчишка, с плохой аппаратурой, с полным незнанием жизни.

Я начал смотреть, вдумываться, кто как снимает, научился отличать стилистику и приемы работы своих наставников. Самым значительным для меня стал Исаак Романович Тункель. Мне он казался человеком старым. Его фотографии отличались от всех, они были построены по цвету, а цвет только начинался. Как это ни странно, но Тункель пришел в «Огонек» из бытовой фотографии, где снимают на документы.



И вот однажды (очевидно, это был самый конец 1952 года или начало 1953-го) он говорит: «Толя, хочешь, поедем снимать Пришвина?». Я сказал: «Конечно, Исаак Романович!». И мы договорились, что встретимся у метро и в десять часов утра будем у Пришвина в Лаврушинском.

Я опоздал минут на пять. Тункель прямо-таки взвился: «Как можно опаздывать?! Мы идем к известному человеку, он нас ждет, а мы уже на пять минут опоздали!». Я, конечно, как щенок: «Ой, простите...».

Прибежали мы в этот дом. Я ассистировал, свет надо было держать. Тогда впервые увидел в работе объектив «Фокус-28» — таких еще не было, это очень широкоугольный объектив, и тут я все смотрел, как Тункель снимает этим объективом. Я держал самодельный осветитель с лампочкой. В результате моих стараний комната превратилась во дворец — потолки и без того высокие засияли.

Пришвин сидел за письменным столом, а иногда в кадр забегала собачка, и это оживляло сцену. Получился прекрасный снимок.

Съемка эта была накануне 80-летнего юбилея Пришвина. И когда Михал Михалычу вручали снимок, он удивился и сказал: «Никогда не думал, что такой кастрюлей можно сделать такой хороший снимок!». Он имел в виду

тот осветительный прибор, что я держал. Вообще-то он и сам был фотолобитель.

Пришвин одно время жил под Переславлем-Залесским, потом там доску даже повесили на его избе. И вот собрались местные жители, читают: «В этом доме жил и творил Михаил Михайлович Пришвин». И какая-то бабка говорит: «Все правильно, жил, да. Жил, но не творил. Ничего он такого не творил!».

Съемка Пришвина оказалась для меня очень важной. Будучи ассистентом Тункеля, я понял, какое нужно мастерство, чтобы сделать хороший снимок.



1950-е гг.

Со своим Чеховым в Лопасню

Первая наша с Ириной совместная профессиональная съемка — это Лопасня, почтовая станция, откуда Чехов отправлял письма, когда жил в Мелихове. Задание снять репортаж об этой почте дал нам «Огонек». Был 1952 год. Музея там еще никакого не было, и мы взяли с собой портрет Чехова — такие в школах висели. И правильно сделали, что взяли. Мы увидели самую обычную замызганную почту, в которой ничего не напоминало о Чехове, ничего! И мы прилепили там на стене Чехова — и сразу как-то все ожило. Народ обрадовался: «Ага, оказывается, Чехов тут был!». И репортаж получился живой. Это была, наверное, отправная точка нашего совместного становления.

Чувство Родины

Чувство Родины... Оно проснулось у нас с Ириной уже с самого момента нашего знакомства. Мы вместе ходили по полям, лесам — и весной, и осенью; бродили со старыми еще, тяжелыми камерами. Ходили еще неизвестно для чего, в поисках себя, и часто мы шли мимо разрушенных церквей. И снимали их, конечно. И так получалось, что у нас всегда в кадре были церкви. Нам говорили: «У вас что, пейзажей без церквей нет?» — «Ну почему, есть, но ведь церковь — это доминирующий момент в пейзаже в среднерусской полосе». Мы тогда не были воцерковлены, но понимали, что храмы, которые стоят на пригорках, — это замечательно. Даже разрушенные, они прекрасны.

И эти виды пробуждали в нас любовь к Родине. Мы видели: это — наша Родина, а не только комбайны, новостройки и парады.

Первой нашей книгой стало «Золотое кольцо», это 1960–1961 годы. И вот когда эта книга уже печаталась, в издательство позвонил кто-то из ЦК. Там увидели на снимке церковь



с крестами: «Чего это вы пропагандируете какие-то кресты!». И книгу зарубили.

Таинственная простота

Я в юности хотел стать оператором, потому что считал, что в моем арсенале будет все. Будут пиротехники, актеры, осветители, и это меня привлекало очень, я думал: «Вот! Я буду дирижировать созданием изображения!». Но на самом деле у серьезного режиссера оператор — это ничтожная личность. Инструмент. Поэтому я никогда не жалел, что не пошел в операторы.

Фотограф — он, как композитор, должен увидеть-услышать все звуки, все цвета, его окружающие: тут листва, тут свет упал, тут радуга, тут вот капелька... И он должен в этой всей гармонии разобраться и увидеть главный момент и поймать эту секунду.

Фотограф сочиняет из того, что ему дает Господь, тот единственный кадр, который достоин если не вечности, то долгой жизни.

Все очень таинственно и при этом очень просто. У нас есть кадр, немногий из тех, которые мы сами любим, — «Тропинкой предков» (деревня Лодыгино, Костромская область, 1971). Там баба идет с ведрами, мы снимали с Ириной, ничего не организовывая, она взяла ведра, пошла, а мы сняли...

А «Мокрая тропинка» — может, помните? Мы шли с приятелем, начинающим фотографом, идем вперед, не оглядываемся, и вдруг я оглянулся и увидел тропинку — и она светится, и лес там, и облучко появилось!

Или вот мы бредем зимой с Ириной по озеру Неро. Темно, серо, мрачно, аппаратура на нас камнем висит, а глядеть ни на что не хочется. И вдруг — просвет в небе, солнце не появилось, но какой-то появился свет, и мы раз-раз, сняли два кадра — монастырь на этом фоне. Почти грозовом каком-то, серо-розовом, с тучкой...



1950-е гг.

В такие минуты переживаешь восторг стрелка, который в десятку попал. А сколько раз было, когда чуть-чуть прозевал — и упустил. Потом иногда приходишь в то же самое место, которое облюбовал, думаешь: ну вот сейчас-то не пропущу, сниму, — но нет, ничего похожего. Упустил навсегда!

Анна Ахматова

Мы были с Юрой Казаковым в командировке в Закарпатье, в Ясенях. Это было 5 марта 1966 года. Юра взял с собой радиоприемник «Спидола», и по одному из западных голосов мы услышали, что умерла Анна Андреевна Ахматова. Я воспринял это как глубочайшую трагедию для литературы, лично для себя. Был ужасно расстроен и все повторял: «Юра, ты понимаешь, Ахматова умерла!..». Он так на меня серьезно посмотрел и сказал: «Старик, ты что, считаешь, что эта старуха лучше меня?». Я говорю: «Да-да, Юра, конечно, лучше тебя».

Имя Ахматовой я слышал с юности, читал ее стихи, тогда, в 1950-х, она же печаталась небольшими тиражами. К тому же мать Ирины знала ее стихи прекрасно. Ирина в детстве запоем читала стихи Ахматовой вместе с внучкой Владимира Егоровича Маковского¹.

Где-то в конце 1950-х я попал в одну славную компанию. Мы любили ходить пить пиво в парк Горького. Я был дегустатором: брал, пробовал на вкус и говорил, хорошее или «не-е-т, это не годится». И нам приносили другое пиво. Меня в эту дружную компанию ввел мой товарищ Гена Галкин, с которым мы работали в газете «Медицинский работник». Гена был хороший журналист и богемный человек. Его друзьями, а потом и моими стали Саша Нилин, Максим Шостакович, Миша и Боря Ардовы.

Ну а Анна Андреевна большую часть времени в Москве проводила у Ардовых на Ордынке, в крохотной комнатке, там было метров шесть-семь, не больше. Только кровать втискивалась и все.

И вот однажды мы заваливаемся к Ардовым, а Миша с Борей говорят: «А у нас Анна Андреевна». И мы,

¹ Владимир Егорович Маковский (1846–1920) — российский живописец-передвижник.



*Анна Андреевна Ахматова.
Москва. Март 1964 г.*

гусары такие, подошли к ней, поцеловали ручку, чинно сели за стол. И вот так мы много раз оказывались за одним столом. Признавались, что у нас нет денег, и она нам небрежно что-то бросала, и мы бежали в магазин, покупали какое-то вино.

Анна Андреевна, мне казалось, с удовольствием с нами сидела, ей нравились молодые люди, полные надежд, бесшабашные, непонятные ей. Ну и симпатичные. И вот мы сидели за одним столом, она с нами выпивала понемножку. Однажды, будучи пьяненьким, я прочитал ей ее стихи. Она меня поправила в одном месте. Мне нравилась экспрессия этих стихов:

*Просытаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зеленую волну,
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем,
Но, предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей судьбою...*

Вот тут она меня поправила, правильно: звездою.

*От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.*

Потом Анна Андреевна уезжала в Англию, и я узнал, когда она возвращается, рассказал об этом Ирине, и она загорелась: «Я хочу ее встретить! Ну пойдём, поедём...». Мы приехали на Белорусский вокзал. Народу было не много, человек двадцать. Все бросились к вагону встречать Анну Андреевну, поддерживали, целовали ручку, а я еще и снимал. Ирина тоже снимала все время, но ни одного кадра у нее не вышло. Руки у нее дрожали так, как будто она Пушкина видела. Вся съемка была абсолютно выброшена. Все нерезко.

А я снял, как Миша Ардов ведет Анну Андреевну под руку к машине, какая-то еще девица рядом. Кстати,

Миша Ардов до сих пор этого снимка не имеет. И вот после этой встречи мне удалось договориться с Анной Андреевной, что я ее буду снимать. Она не очень любила сниматься, но сказала: «Хорошо, пусть приедет». И на фоне рисунка Модильяни я ее немного снимал. Считаю, что этот портрет очень удачный. Чувствуется, что к ней пришел не просто фотограф, а человек, которого она хорошо знает.

Я понял, что эти снимки обязательно надо ей показать. А в ту пору она уже жила не у Ардовых, а у Маргариты Алигер в Лаврушинском, в писательском доме. Пришли мы вместе с Сашей Нилиным. До сих пор слышу ее медлительный властный голос: «Кажется, я могу принять». Это она говорила дочке Алигер.

И вот мы вошли туда, разложили на столе снимки. Она смотрит: этот не годится, этот не годится, вот этот — да, хороший. Я его и напечатал. Она написала на нем: «Анатолию Фирсову с благодарностью, Ахматова». Второй снимок она просто подписала «Ахматова».

Высоцкий

Когда Юра Казаков бывал в нашем доме, то говорил: «Ребята, какие вы счастливые люди, что живете в одном доме с Высоцким». А я говорю: «Юра, да мы гораздо более счастливы, что мы с тобой рядом живем!». Это правда, потому что Высоцкий хороший поэт, бард, но Казаков — это Казаков.

А с Высоцким мы просто были соседи, один раз сидели рядом на собрании гаражного кооператива. Распределяли места в гараже, жеребьевка была. А мы автолюбители были еще зеленые, и Ирина спросила: «Володя, скажите, вот с этого места как нам выезжать — удобно или нет?». Он отвечает: «Нормально, вот отсюда поедете, вот и очень удобно: раз и все».

Когда Володя внезапно умер, мы, понимая, что он бард великий, хотели снять, когда будут выносить его гроб из подъезда. И мы легли специально на лоджии открытой, думали, часов в семь–шесть, не раньше это будет. Чутко спали. И вдруг заиграл оркестр в три часа ночи, а у нас там рядом консерватории общежитие, мы и подумали, что студенты решили так почтить память Володи.

А оказалось, что в этот момент выносили его гроб. Власти боялись столпотворения, вот и делали все глухой ночью. Ну и мы прозевали. Значит, так и надо было. Высоцкий — не наша тема.

Поклоны

Мне хотелось бы с благодарностью назвать людей, которые имели в нашей жизни огромное значение: Юрий Казаков, Расул Гамзатов, Илья Глазунов, Глеб Горышин, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Валентин Курбатов, Савва Ямщиков, Федор Поленов, Валентин Распутин, Николай Бенуа (сын Александра Николаевича), Сергей Куприянов (акварелист, народный художник, потрясающе скромный, обаятельный, очень хороший человек), Виктор Чижиков, Вячеслав Орехов (замечательный кинорежиссер-документалист), путешественник Федор Конюхов. А еще — народные умельцы, художники, которых некоторые называют примитивистами: Владимир Зазнобин, Герман Блинов, Григорий Кусочкин, Петр Крохоняткин — потрясающий ярославский художник, просто удивительный!



*Вице-адмирал Г.Н. Холостяков,
И.И. Стин, Ф.Д. Поленов (крайний справа)
Начало 1970-х гг.*

Была ранняя весна. Мы приехали в Поленово. Нам сказали, что Федор Дмитриевич на Скниге гуляет с собачкой. Мы с Ириной увидели очень молодого чернявого человека в морской фуражке. Он совсем молодой, юный. Старше нас всего на три года. Ему представились, пошли домой и как-то подружились сразу. Это был чуть ли не единственный человек, с которым у нас все время была связь. Мы не теряли друг друга из вида больше чем на месяц, по-моему. Когда он был в Москве, — а он бывал в Москве часто, — он обязательно приезжал к нам домой. Был у него час-полчаса, он заезжал, пили мы чай, разговаривали.

Начиная с 1956 года мы стали приезжать в Поленово очень часто. Первый альбом в «Планете» мы сделали именно о Поленове. К сожалению, он был испорчен печатью, хоть и печатали его в Германии. Цвет ужасный. Но тем не менее он пользовался успехом, и Поленовы были очень довольны.

У Федора Дмитриевича в бытность его директором музея-заповедника было общество «Родина». В него входили молодые люди, обычно школьники-старшеклассники. Они там летом жили, помогали делать изгородь вокруг усадьбы, помогали церковь в Бёхово восстанавливать. Это были ребята очень преданные, они жили целое лето в лагере в Поленове. И вечерами Федор Дмитриевич устраивал встречи. Горел камин, собирались молодые люди.

Федор Дмитриевич был очень образованным, начитанным человеком, прекрасно знал поэзию, сам был поэтом. Он мог читать стихи буквально часами...

Общались с Федором Дмитриевичем огромное количество лет по-дружески, и выпивали, и шутили, но всегда были на «вы», как ни странно. Это был свой человек, абсолютно свой.



рассказывают

ИРИНА СТИН
И АНАТОЛИЙ
ФИРСОВ





1960-е гг.

Поленово и поленовцы

Поленово... Прекрасная усадьба в окружении чудной теплой реки, березовых перелесков, оврагов и родников так хороша, так привлекательна, так светла и радостна!

На протяжении многих лет на моих глазах был там и есть большой клан семьи Поленовых, который, к ужасу моему, все дальше уходит от своих благородных предков. Державины, Энгельгардты, Воейковы, Львовы, глядящие с портретов из золоченых рам, сильно бы удивились, наверное, встретившись на небесах с этими своими потомками. Однако спасают гены. Сейчас Левушка Поленов — совершенно особенное явление; и его дети: Ваня и Аня, его жена Лена. Нормальные дворянские люди. Скромны, просты, естественны, искренни, умны, не завистливы, не суетны. Когда их гнали, обирали после смерти Федора Дмитриевича Поленова, Левушка мне сказал просто: «Ирина Игоревна, не было же у меня ничего — значит, мне ничего и не надо». В другой раз, когда я ему

напомнила, что он дворянин, он ответил: «Я еще ничем не заслужил достоинства моих предков».

Мы ездили в Поленово с 1954 года. Тогда там еще сохранялись признаки, а вернее, призраки дворянской жизни. Они мелькали по аллеям — стареющие, гонимые заботами, униженные мучительно нищим бытом. Это были интеллигентные, культурные люди, владеющие языками, с хорошими манерами. Служили они в музее, ютились по комнатам в особняке и особенные трудности терпели в добывании продуктов. Ближайший магазин был в четырех километрах, надо было не только идти пешком, лесом, до парома, но и переправляться через Оку в Тарусу.

Нужно было ехать на корабле. Это был большой, единственный уцелевший там колесный пароход с железной палубой. Движение колес завораживало, они загребали воду и снова шумно сливали ее обратно. Внизу же, в чреве парохода, было большое низкое помещение с деревянными жесткими скамьями. Вот и весь корабль — с шипением и поскрипыванием в его деревянной утробе, в обшивке, в колесах, во всей его простоте и какой-то дружественности, свойственной ушедшему времени. Он далеко уводил в восемнадцатый век, и название чудное — «Екатерина Вторая»! Теперь он назывался «Алексин», как и город, отстоявший от Поленова километров на тридцать.

Итак, для того чтобы купить хлеба (хотя бы только хлеба!), надо было провести весь день в пути, в дороге, на ногах. Что касается корабля, то он ходил два раза в сутки, один раз туда и один обратно. И пропадал целый день, и влачить на себе купленное было не каждому по силам, у всех уже седые головы.

Худенькая старушка Елизавета Александровна Чернышова была не кто-нибудь, а дочка Веры Мамонтовой, дочка «Девочки с персиками».

Величественная Галина Николаевна — дочь губернатора, вот только боюсь ошибиться, то ли воронежского, то ли орловского.

Чудная Вера Николаевна Самгина. Она была из семьи владельцев колокольного завода братьев Самгиных¹,

.....

1 Основатель династии Самгиных в Москве — купец 1-й гильдии Афанасий Никитич Самгин. Колоколотейный завод Самгиных выполнял заказы московских храмов и монастырей. Самгины были глубоко религиозными людьми. Перед отливкой колокола совершали молебен, а если получали заказ из какого-нибудь монастыря, то на молебен приглашали

обретавшегося вблизи Сухаревки. Знаю, что ею в свое время горячо заинтересовался с явным намерением жениться писатель Ян. Он миновал ареста, был ценим и даже отмечен государственной премией. Пригласил Верушку в гости, а ее ближайшая подруга говорит: «Ты сейчас не ходи, у него очень напряженная работа». Потом ей, Верочке, передали, что-де он о ней спрашивает и хочет видеть ее, и она всей душой рвется, а подруга говорит: «Сейчас неудобно просто так идти, погоди, пока гости соберутся». И собрались — на свадьбу подруги с Яном. Встретились они с ним глазами и прочли там свои разрушенные судьбы.

Так и жила Вера Николаевна одиноко до конца дней, бедно, трудно, незащищенно, в коммунальной квартире у Никитских ворот, давала уроки языков. Тогда еще было много дам, прекрасно знавших языки. Они ходили по домам, или собирали группу, так это и называлось — немецкая группа или французская группа. Эти дамы были воспитаны в традициях приличия и скромности, поэтому цены на уроки у них были мизерные, и жить на эти доходы им было крайне трудно. Что-нибудь изредка продавали из сохранившихся подкожных, какую-нибудь брошку или шляпную булавку, чтобы продержаться. Горькое это было житье, мрачное окружение чевенгурцев. Вера Николаевна как-то горько пошутила вслух: «Посыпал пеплом я главу, а что, от этого волосы лучше растут?».

Людей своего круга становилось все меньше. Но тем радостнее были встречи, тут же не приходилось ждать грубости. Мы понимали друг друга во всем: и в бедности обстановки, одежды, узнавали свою бедность. Знаменитый зеленый сыр за одиннадцать копеек скрашивал любую еду, делал ее пикантной и даже навевал литературные воспоминания: «...меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым»². Украшали стол стограммовая початая палочка сливочного масла да маленькая, в несколько кусочков, горка сахару. В комнатах было пустовато, холодновато, со стен глядели родные лица, но тоже как-то отчужденно и печально, не узнавая ничего. Хозяйка на отекающих ногах уходила ставить чайник, и, глядя ей вослед, думалось, что

.....
настоятеля обители. По итогам Всероссийской выставки 1896 года Самгины получили право изображать на своих колоколах герб Российского государства.

2 Строчка из «Евгения Онегина». Лимбургский сыр — это мягкий острый сыр, изготавливавшийся в провинции Лимбург (Бельгия).

она протянет недолго. Соседи хоть и не приглашались, но давно успели приглядеть, как там чего, чтобы успеть при оказии кое-чего присвоить.

Оттаять немного удавалось иногда в консерватории. Благо все еще жили либо в подвалах, либо в чуланах где-нибудь у родственников, тут же — от Остоженки до Никитской. Заиндевелившие трамваи ходили туда по Бульварному кольцу, и там уж рукой подать. Праздничность, весь дух классики сразу обнимали и вводили в свои стены, совершенно изымая из дня сегодняшнего. Невольно глаза искали знакомые лица, программка обещала хорошие голоса и известные имена.

С тревогою оглядывая себя в большом зеркале и сразу решив, что ноги можно спрятать под кресло, а так — сверху — ничего еще, и воротничок освежает, и волосы хорошо заколоты, и все-таки боясь встретить знакомых, с подчеркнута строгим лицом, находила свое место, опустившись на которое можно уже было немножко «отпустить струну» и развернуть программку. Но вот как будто знакомая! Неужели она? Одета прилично и не одна. Потом когда-нибудь, не сейчас же вылезать пугалом. И вообще зачем я пошла? А вон Саша и Никита! Как вытянулись! Ну, потом, потом, хорошо, что третий звонок. Все портреты на месте, все на своих местах, все-таки надо иметь хоть одно приличное платье. И как это я решила, что эта вытертая тряпка — шаль — скроет бедность? А она еще и дымом от печки пропахла. Нечего сказать, выход в свет, «кто там в малиновом берете с послем испанским говорит?». А потом — домой, по вьюжной Москве, в остывшую комнату. Горячего чайку, котам размять в горячей воде хлебца — и скорее в постель. Бог даст день — Бог даст и пищу...

Летом Вера Николаевна привозила двух своих котов в Поленово. Они назывались Пуп и Ряб. И, кроме этих Пупа и Рябы, были еще и местные, которые все время прибывали и убывали, болели и умирали, рождались. Бродило по дорожкам их множество, но никто ими не интересовался, кроме Веры Николаевны. Она всегда бежала на помощь людям, и зверям, и птицам, и все, что где-то дрожало от холода, бродило, голодало, плакало, болело и звало на помощь собачьим ли, кошачьим ли голосом — все было хозяйством Веры Николаевны. Никого больше это

не интересовало, за это ее не любили, все причем, единодушно. Федор Дмитриевич не замечал ее, дамы шипели, народ в музее насмехался, уборщицы презирали ее, но этот одинокий воин, спасая, делясь последним, таская кошкам плошки с едой, устраивал все-таки какие-то норки, какие-то коробочки, ящички, щели для животных, чтобы они не замерзли и не погибли.

Мама моя ходила на скамеечку, где эти замечательные дамы — Вера Николаевна, Елизавета Александровна, Галина Николаевна — в полном единомыслии костерили советскую власть и тихо курили в уединенном уголке поленовского парка.

Как мне надо было бы написать о дивном деде Сазонове, раскулаченном и бежавшем с семьей из богатой Орловщины в Поленово. Там ему удалось прожить тихо, незаметно и оседло. Это ему принадлежит философская мысль: «Раньше был порядок: умный к умному, дурак к дураку, а теперь все смешалось, и это ведет к убийству нации».

Не помню, рассказывала ли я о том, как Матвей Иванович Сазонов женился? Маленький, из небогатой семьи, он замахнулся на первую красавицу и богатую невесту в своей деревне. Подгадал кататься с гор на санках, наклонился к уху и говорит: «Пойдешь за меня?». — «Пойду». — «А почему?». — «Ты храбрый».

Гражданская война, разруха, революция быстро положили конец порядку, прибытку и надеждам на будущее. Так, спасая жизнь, они двинулись вон из родной деревни и как-то тихо осели в Поленове, делая самую незаметную работу, растворившись в крестьянском окружении музея, которое состояло из скотников, конюхов, плотников, бакенщиков, огородников, служителей парка усадьбы.

Еще до войны тогда еще крепкий Матвей Иванович изменил было законной жене. Все, конечно, всколыхнулось, особенно бабы: какой пример мужикам! Одна лишь супруга Матвея Ивановича была также хороша и весела, и никакого виду не подавала. Хотели бы увидеть ее с лица спавшей, несчастной, ждали развязки дела. Наступил какой-то «великий» советский праздник, народ прихорошился, нагладился и пришел в клуб. А там и Сазоновы пришли, хотя им-то чего веселиться, да и от людей стыдно. И чего уж никак нельзя было ожидать: Сазониха вышла на сцену и, лихо подбоченясь и приплясывая,

спела авторскую частушку — закрыла вопрос. Вот такие были Сазоновы, оба храбрые, умные.

А тетя Паша! Это на ее незабываемых простынях и пододеяльниках, с легким упругим крахмальцем и нежной подсиненностью, вдыхая ароматы леса, скотного двора и свежего дерева новенькой террасы, мы засыпали при свете звезд и стрекоте лягушек. Наутро тетя Паша, женщина выскокая, дородная, решительно разворачивала передо мной какую-то драму местного масштаба, из которой я запомнила лишь то, как она «отполыхала какую-то проститутку».

А на самом берегу Оки в избушке жил Павел Никифорович Верин. На склоне, на спуске к воде вокруг дома бакенщика росли особенно высокие, чистые и душистые травы. Когда мы снимали фильм об Оке, ее берегах и Поленове, то именно этот склон выбрали мы и пустили по тропинке тихо идущую молодую пару.

Затихали кузнечики, уже обозначился месяц, и, взяв на плечо весла, пошел к воде Павел Никифорович зажигать бакены. Это время, между вечером и ночью, держится летом долго. День затих, и все люди, и бабочки, и кузнечики, и конечно птицы — все уже заняли свои места, уместились, устроились и стали ждать ночи. Скотина уже на месте, люди переступили порог своего дома, и хлопнула уже последняя дверь. На столе трещит самовар, и собираются ужинать, а в светлое окно уже виднеется серебристое брюшко ночной бабочки. Для ночных шорохов, голосов и звука еще рановато, пора не настала. И это недолгое, отмеченное такой тишайшей тишиной время подчеркивает нежный всплеск весел, словно и бакенщик осознает торжественность времени и не смеет нарушить это странное затишье.

Так прозрачно и так тихо, что слышна вдруг упавшая под лапкой птицы веточка. Слышен бегущий по камешкам ручей, но и он очень тих и осторожен.

И вот — деревянный стук на лодке бакенщика. Он отворил фонарь, зажег керосиновую лампу, запер стеклянную дверцу, и свет разошелся в тишине и будто притянул сюда ночь, дальше стало темнее. Вот видно, как бакенщик взял весла и пошел дальше на середину реки. Сейчас река заиграет фонарями, дорожки света побегут по воде, а фигура бакенщика постепенно сольется с наступающей ночью.

И когда он расставит бакены и кончит свою работу, его почти не станет видно, только силуэт еще просматривается на последнем световом кусочке. Он вытянет лодку, звякнут уключины, и станет слышно, как его сапоги рассекают высокую траву и он уходит в свою маленькую избушку. Вот там зажигается свет. Я знаю, что тихий, скромный Павел Никифорович — человек верующий. Его маленькая-маленькая избушка кажется кельей монаха. Хорошо представить себе, что вот сейчас откроет он Евангелие и останется один на один с Богом — помолится о нас, дураках бестолковых, может, и не погибнем...

*Пошли нам крепкое терпение,
И кроткий дух, и легкий сон,
И милых книг святое чтение,
И неизменный небосклон!*³

В Поленове были еще Мишка Кунжотов и его отец, каменотесы. До Серпухова и Алексина стоят на кладбищах кресты их работы. И у меня на семейном уголке Введенского кладбища большой крест из белого камня их работы. Кунжоты фамилию свою изменяли, пока наконец не преобразилась она в святочно-сладкую Коржиковы. А все оттого, что неблагозвучна она была изначально, мальчишки дразнились. Сначала сменили букву «о» на «у», но покоя не было. В советское время исхитрился один сделаться Куржуковым, и наконец уже депутат местного Совета выправил себе Коржикова.

Ростов Великий

Как можно забыть Ростов Великий? Его не знаешь с чем и сравнить. Это подступы к раю. Там я всегда очень радуюсь свету, цвету, объемам, мощности старых храмов. Какое-то глубокое и счастливое чувство вечности рядом с ними.

О Ростове мы делали книгу. Это была самая первая наша работа с альбомом, «первый бал Наташи Ростовской». И там мы чуть не погибли, просто на волоске были.

³ Из стихотворения Михаила Кузмина «Декабрь морозит в небе розовом...», 1920 г.

Мы снимали на валах и, чтобы сделать снимок Кремля с верхней точки, наняли машину, которая поднимает электриков. И вот свет хороший, время подходящее, приехала такая машина. У нее была штанга, которая вылезала и кончалась железной корзиной, в которую мы и влезли по ступенечкам. Шофер перед этим дал мне какую-то железяку и сказал: «Если нужно опуститься или еще что-то, вы стучите!».

Штанга вынесла нас на высоту четырехэтажного дома примерно. И вдруг, только она встала, чувствуем: мы поплыли в воздухе, такое тихое-тихое беззвучное движение. Мгновенно я застучала железякой по корзине, а когда я стучала, то видела, что верхний сустав штанги уже выворачивается, наклоняется отдельно. А шофер вышел из кабины проветриться и стоял спиной к нам. И когда он обернулся, лицо его перекосилось совершенно, он ринулся в кабину, задергал там изо всех сил свои рычаги, и медленно-медленно наша корзина встала на место, и потом мы поехали вниз.

А когда спустились, то увидели, что машина стоит криво, просто набекрень. Шофер-то был пьяноватый, чего мы сначала не заметили. Но тут уже всякий хмель с него сошел, в ужасе он на нас смотрел. Ну а мы потоптались-потоптались, попросили его переменить позицию машины и полезли опять.

Ладога

Ладога — место, где было у нас много горькой радости. Вообще в России, как правило, вся радость горькая. Потому что могло бы быть замечательно, да не будет. Рай, кажется, вот, протяни руку — нет, не тут-то было.

Старожилы нам рассказывали, что жены обычно давали бидончики мужьям, капитанам-морьякам-рыбакам, чтобы они водички из Ладоги, из серединки, привезли. Считалось, самая хорошая вода питьевая, целебная. А в 1980-х скот отказывался пить эту воду! Настолько она была отравлена. Сейчас, надеюсь, намного лучше. Это же надо уметь — отравить крупнейшее озеро в Европе, Ладогу. И развозить воду по берегу Ладоги в цистернах.

В это время на Ладогe и именно на Валааме никаких священнослужителей и в помине не было. Были какие-то выродившиеся совершенно люди, дети какие-то болявые и люди какие-то странные, которые совершенно сидели как у Маркеса покойники. Эти люди очень напоминали его героев. Их нельзя было считать живыми людьми. Лица анемичные, равнодушные, как будто никто мимо них не проходит. Это был мир мертвых. Святое место было изгажено во всех смыслах...

Альбом
.....
«У Белого моря»
.....

Что касается Белого моря, это было очень интересно и важно, потому что там сохранились архитектура, образ жизни. Половички, которые поморские женщины ткали сами, носочки, которые они вязали сами. И в этих носочках по этим чистым половичкам, по чистейшим половицам белым ходили.

Поморской эта культура стала триста лет назад, а была-то русской, и приехала она туда в полной целостности. И если советская власть корчевала центральную Россию со страшной силой, то поморы все-таки поспокойнее жили. Не дали себя выкорчевать. И церкви не все разорили. Вот, например, в Варзуге церковь не была разорена. Там я увидела заботу о церкви, в первый раз за все годы.

Обычно мы видели одни руины, к которым наплевательски относилось местное население. Никогда не забуду, как меня потрясли две тетki, есть такая фотография — они идут с бидонами, толстые, в коротких юбках, довольные собой. По-моему, я назвала это «Дела мирские», потому что за ними — повалившаяся церковь. И, видя это зрелище, я не выдержала и спросила: «Что ж у вас церковь-то в таком состоянии?». — «А-а, церква, — сказали мне, — а че с ней?». Помню: как будто выстрелили в меня. Это было в селе Троицком Ярославской области.

А на Белом море — совсем другое. В Варзуге была прекрасная деревянная церковь, шатровая, очень изящная, и нам хотелось ее снять и изнутри. А нам сказали, что старосты нет, а ключи-то у него, не можем без него-то открыть никак. Мы понимали, что это вранье, и очень одо-

брили их за это и не стали добиваться. Они просто боялись показать храм приезжим людям: мало ли что, начнут там иконы снимать или еще влезут за чем-нибудь.

Мы ничего не вывозили, несмотря на моду. Единственное, что, когда нам предлагали купить, мы покупали. Но цены были такие замечательные, от трех до 15 рублей. А в это же время за слайд нам платили до 25 рублей. Так что, конечно, это было дешево. И мы брали, привозили домой, потом реставрировали, а потом раздавали церквям. Не сразу, не в один день, но так случилось.

Мы приезжали и шли на ночлег. Ни в сельсовет, ни в райком партии нам не надо было. Мы все-таки были внештатники, полукустари, то есть не надо было отмечать ничего, если только это не чья-нибудь командировка была. А в издательстве командировок не давали, давали такую бумажечку, что такие-то фотографии едут туда-то для того-то. Мы были абсолютно во всем предоставлены себе. И потом какие там гостиницы — в деревнях-то! Мы сами стучались да и спрашивали, можно ли у вас остановиться. «Да не, вон там у Марьи остановитесь, там у нее посвободнее». И все. Все носило характер какой-то человеческий и домашний. Деньги с нас брали, хотя и небольшие очень. Десять-пятнадцать рублей те же, и нам нетрудно, и все счастливы.

На Соловках мы познакомились с Юрой Кублановским⁴, он был в то время сотрудником музея, ходил в вывернутом тулупе, несколько юродствовал, а главное, диссидентствовал. Страшно обрадовался, когда на горизонте появились интеллигентные люди, устроил нас в келейном корпусе, который в сталинские времена был тюрьмой. Остались в памяти каменные ступени на второй этаж, где была наша келья. Ступени, которые были стерты. Я понимала, что стерты они ногами заключенных. Не монахов, а заключенных. Овальчиками они все уже были. И эти детали западали в душу и никуда уже не уходили.

Все-таки фотография была профессией, а все остальное, все эти звуки внутренние — это была моя душа, моя жизнь.

Как-то мы поехали с местной жительницей за грибами. «На жареху да на вареху хватит, наберем! Поехали!»

⁴ Юрий Михайлович Кублановский (1947 г., Рыбинск) — русский поэт, публицист, эссеист, критик, искусствовед. В начале 1970-х годов работал в музее на Соловках

Мужики специализировались на том, что сажали вас в лодку и переправляли на Анзер. Переплыли, день был тихий, солнечный, спокойный. А мужики сказали: когда обратно надо — зажгите костер на берегу. Никогда не забуду: дорога такая открытая, обдуваемая ветром, и вот пока мы идем к скитам, к монастырю, то по пути — несметное количество грибов. Причем грибы все были подосиновички — величиной с копеечку, с две. Не так, как у нас, вырастет мордастик. И их было так много, что они хрустели под ногами. Конечно, можно было бочку насобирать и насолить, но где же в тех условиях солить, как везти, где взять бочку?

Пособирали и остановились в маленьком домике. А в этом домике была плита с чугунным верхом и что-то вроде алькова большого с помостом. Вероятно, от лагеря это все осталось, тем более что в дверце был глазок. Кое-какое сенцо было набросано. Начался шторм, обратно ехать нельзя — значит, тут надо оставаться ночевать. А грибы-то пропадут, все-таки еще не зима, надо их сушить.

Толя лег спать на этот помост, а я осталась дежурить у плиты. На плиту мы водрузили железную кровать, лагерную такую, без всяких матрасов, без ничего. Просто остов поставили на плиту, натянули проволоку, на проволоку надели грибы и закрепили. И чтобы не сгорело и все-таки подсохло, подсушилось, я всю ночь сидела с кочергой доморощенной, распределяла жар.

А потом мы ходили на гору, смотрели на монастырь. И оттуда сверху был красивый очень вид, к нашей радости. Мы все это снимали. А потом немножко утихла буря, и мы поплыли обратно. Грибы, конечно, не досохли, и Фирсов вдруг проявил неожиданную сметку. Он вообще иногда проявлял неожиданную сметку. Штатив у нас был, Толя расставил его, как Эйфелеву башню, нашел мягкую проволоку и мы нанизали эти грибы. А внизу поставили рефлектор. Замотали снаружи фольгой — получилась духовка, чудно они в конце концов высохли, и мы привезли домой душистые белые грибы.

Но воспоминания от Соловков остались горькие и болезненные. Это была картина полного разрушения. Все было расщипано, разломано, растоптано. Звезда эта, приваренная наверху, над монастырем, пятиконечная, теперь снятая, слава Богу. И везде за этими руинами — следы бывшей цивилизации, следы нормальной человеческой жизни.

Там до революции была первая электростанция на Белом море, там было замечательное молочное хозяйство на острове Большая Муксума, туда они проложили дамбу, по этой дамбе была проложена прекрасная дорога, которая прожила двести лет и жива сейчас. На этом большом острове держали скот, его доили, от чужаков огораживались одними воротами — кругом-то море, коровы никуда не денутся. Открывали ворота, когда надо, приезжали на лошадях, забирали молоко-творог и увозили. А скот так все лето там и жил, весь сезон. Мы там видели столько разумного, столько прочного, столько красивого, надолго построенного...

Я вообще, кстати говоря, страшный в этом смысле консерватор — очень люблю все прочное, люблю, чтобы было все основательно, крепко. А всякие фитюльки меня только раздражают. А на Соловках — стены так стены, валуны так валуны, каналы так каналы (выложены все колоссальными валунами), и как советская власть ни старалась — целы. По каналам до революции ходил пароходик маленький, собирал и развозил людей для разных промыслов, которые там были (сукнокраильные, сукновальные). И люди жили там в лесу вдоль этих самых каналов. Все было так хорошо устроено, прямо как в раю.

Я все время там мрачно шутила: «Следы цивилизации». А дальше этого как-то мысль не шла. Помните песню: «У советской власти сила велика!». Мы были крещены детством. Казалось же, что все это надолго, если не навсегда. Никогда не возникала мысль, будет ли это все возвращено Церкви и восстановлено.

Альбом
«Очаг мой, Дагестан»

Дагестан — это необыкновенная полоса в жизни. Там как ни повернись, уже опять новый пейзаж, совершенно новый вид, так красиво все: там горы, тут небеса, там какой-то обрыв, тут река, там какие-то дивные костюмы национальные...

Мы первый раз были в горах. Это целый мир. Мы там провели ровно семь месяцев. Не за один раз, я по-

том посчитала по билетам. Я сохраняла билеты, потому что нам ничего не платили, платили гонорар и считали, что этого достаточно, — а деньги-то на поездку из этого же гонорара идут! И, чтобы их потом все-таки убедить, я единственный раз в жизни сохранила все билеты, счета, удостоверения, квитанции из гостиниц. Таким образом, я посчитала, набралось ровно семь месяцев.

Дагестан — тема, кажется, совершенно не наша, но когда нам сказали: «А не хотите ли поехать в Дагестан?» — мы согласились. В то время там жил легендарный Расул Гамзатов, и нам показалось очень интересно посмотреть эту незнакомую нам горскую жизнь, мусульманскую жизнь.

Когда мы туда попали, были совершенно очарованы пейзажем, горами, ущельями, одеждами. Но при этом мусульманский мир резко отличается от нашего, и чем глубже в него христианин погружается, тем ему труднее. Поэтому мы испытывали, впрочем, как и по России, совершенно двойное чувство: очарования, восторга, радости и такого глубокого какого-то страха, горя, причем не за себя даже, а за тот народ, который так живет. Уже при нас вместо прекрасных национальных одежд женщины стали носить какие-то курцы, жалкие юбочки, жакеты, пиджаки, и все это выглядело жалко и ненужно, а их одежды — царственно красивы! Также как и наши старинные одежды. И мы, когда снимали, старались удержать именно этот облик, ну а нас заставляли снимать какие-то там Черемушки в Махачкале...

А что касается очарования, то действительно, это такая экзотика, такие просторы, такая вообще сцена, которая вокруг вас разворачивается, что просто не оторваться, не хочется уходить оттуда. Каждый раз думаешь еще, еще поснимать или хотя бы увидеть. И еще одна особенность: как только куда-то буквально завернешь — хоп! — совершенно новая картина! Совершенно новый сюжет! Какой-то новый ракурс. Очень было интересно, и поэтому мы с любовью снимали, и у нас получились действительно очень интересные материалы.

Наша книга, конечно, была осовечена, так сказать, обесцвечена. Вынули главное. И вот теперь, глядя на тот материал, который у нас остался, мы очень жалеем, что нет возможности издать книгу о Дагестане, о том Дагестане, которого больше нет.

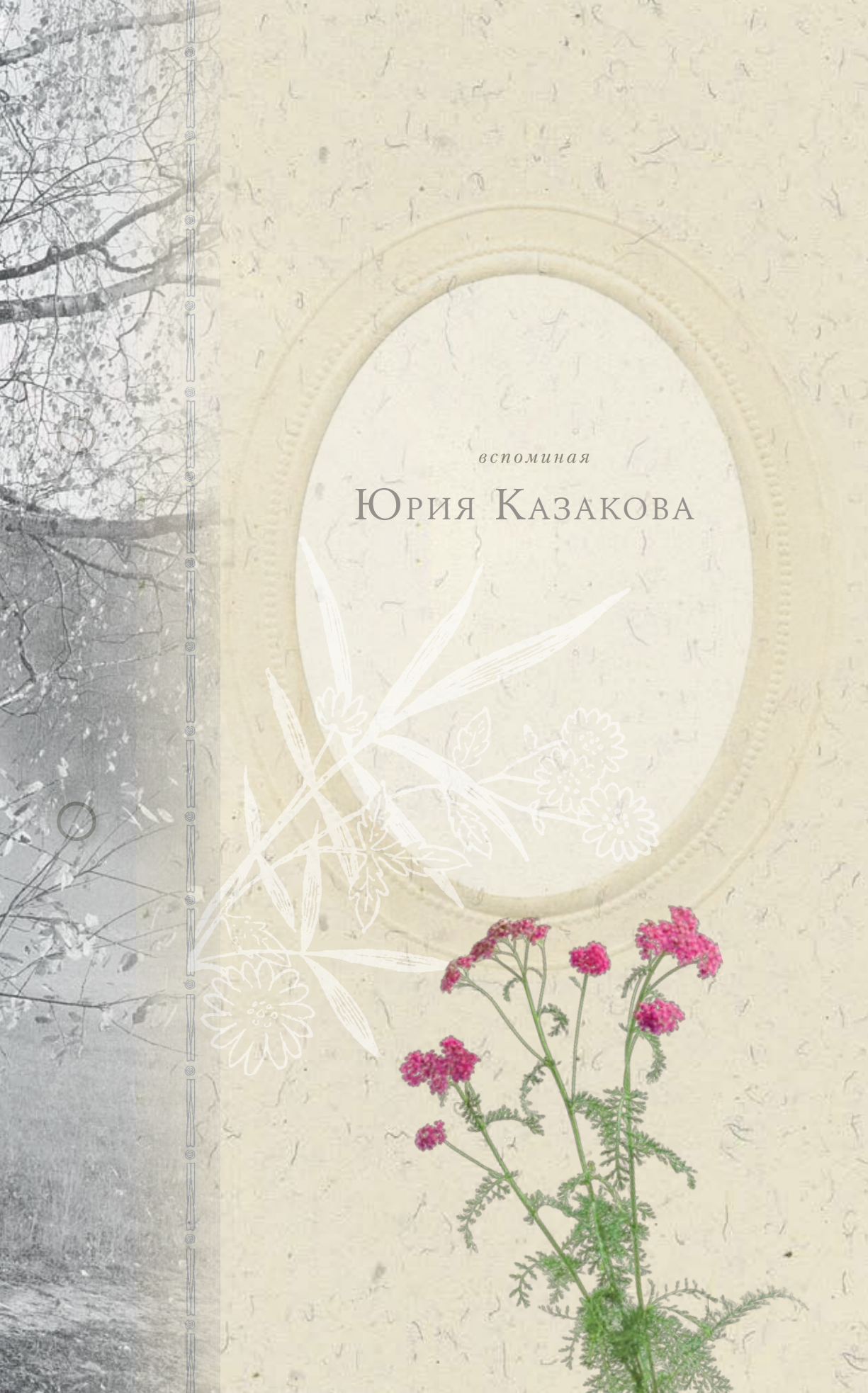


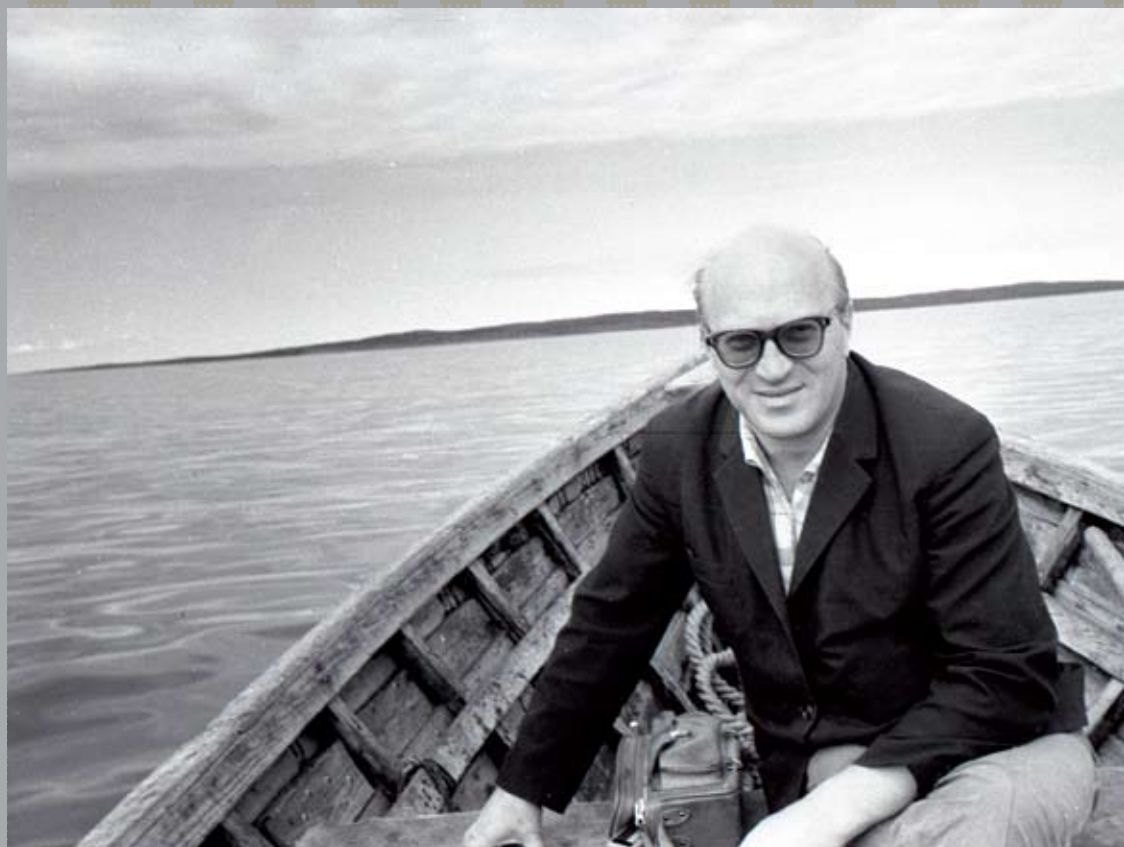




вспоминая

ЮРИЯ КАЗАКОВА





Вторая половина 1960-х гг.



И.И.:

— Юрий Павлович Казаков — это отдельная страница для нашей семьи. Как-то так вышло, что мы его почти не снимали, ну вот не снимали и все. Так в жизни часто бывает: своим, самым близким, не достается нужного внимания, потому что они всегда рядом. Это чувство обманчиво очень.

И вот по пальцам можно пересчитать, сколько раз мы Юру снимали: это когда Толя с Юрой были на Соловках, потом в Карпатах нас Толя снял очень мило, мы на лыжах с ним. Ну и вот этот коронный снимок, который переходит из одного издания в другое: где он в резиновых сапогах, с ружьем. Это снято в Абрамцеве, он сидит на крылечке у бани.

А.В.:

— Я познакомился с Юрой в начале марта 1966 года. Я работал тогда в «Туристе», замечательном журнале. Передо мной открылась огромная страна, благодаря «Туристу» я мог ездить и летать в любую ее часть.

И вот ответственный секретарь, который был знаком с Юрой по детству, по Арбату, говорит: «Толя, ты хочешь с Казаковым поехать в командировку в Карпа-

ты?». — «С Казаковым? Конечно!» — сказал я. А я Юру знал только по его произведениям. Вскоре Юра приехал в редакцию на своем горбатом «Запорожце»; до сих пор не понимаю, как он, такой большой, туда влезал.

Мы с ним познакомились, поговорили. Я пришел домой, говорю: «Еду в командировку с Юрием Казаковым». А Ирина уже была с ним знакома по литературным делам, она любила Казакова как писателя, прекрасного, в то время чуть не единственного. Как он писал! И Ирина говорит: «Я тоже хочу!»

И.И.:

— Да, я познакомилась с Юрой раньше благодаря Феде Поленову. Однажды мне надо было показать одну рукопись, и я хотела показать ее именно Казакову. Он в это время уже печатался, и его нельзя было не любить, не восхищаться им. На фоне всей тогдашней советской литературы вдруг появился такой дивный писатель! Он перекликался с Буниным. И вот Федя дал мне телефон Казакова. Юра жил на Арбате, дом 30, там сейчас мемориальная доска висит. А я жила за три переулка оттуда, и Арбат для меня — родное место. Я позвонила, а Юра говорит: «П-п-п-приходите». Как он хорошо заикался! Он стеснялся этого, рассказывал, как они с Женей Евтушенко ездили куда-то в Азию: «П-понимаешь, старушка, он ч-читал стихи, а я п-прозу».

И вот когда в 1966 году Толя с Юрой собрались в Карпаты, я тоже загорелась. Мне удалось взять командировку от журнала «Здоровье». Так мы все и поехали.

А.В.:

— На вокзале мы встретились перед отходом поезда. Мама Юры, Устинья Андреевна, его провожала и жена Тamarочка. Тamarочка была такая скромная, стояла немного в стороне. Устинья Андреевна Ирину спрашивает: «Как твой-то, пьет?». — «Да он совсем не пьет». — «Как не пьет?» — удивилась она.

Ну вот, сели мы в вагон и поезд нас помчал во Львов. Но как-то мы сразу с Юрой познакомились прямо на «ты» — это удивительно.

Он мне говорит: «Т-толя, постели мне, пожалуйста, постель, я не умею стелить». — «Конечно, — говорю, — постелю!». И мы сразу так начали, не было никаких «вы», сразу — Толя, Юра.



*Абрамцево.
8 августа
1977 г.*

Утром проснулись: какие-то поля за окном, снежок последний. Юра мне говорит: «Слушай, старик, смотри, какие поля. Немножко снега — и как все это играет».

Во Львове нас встречали его друзья и замотали немножко, потому что звали в гости туда, сюда. Ну, великий писатель, интеллигенция понимала его значение. И поэтому Юру там уводили от нас, мы там были сутки или двое. Билеты от Львова до Карпат взять было сложно, Юра сунул в кассу свое удостоверение ПЕН-клуба, в кассе испугались и сразу нам дали билеты.

И.И.:

— Мы приехали в Весеня — это такое туристическое место. Юра взял с собой портативную машинку пишущую. И не успели мы войти в гостиницу, как на нас начали кричать: «Вы что несете! Вы что, вы куда?!». Оказалось, все вещи надо сдавать в камеры хранения. Мы отказываемся — у нас аппаратура дорогая, а Юра говорит: «А на чем же я буду п-печатать?». Он собирался работать в комнате, а ему в камеру хранения все велят сдать. Мы и то, и так, а нам — нет. В общем, мы обиделись и ушли отсюда. И не знаем, куда деваться. Прибежала какая-то женщина, которая видела все это, говорит: «Пойдемте со мной, я вам ночлег устрою, а завтра вы уже сами выберете». Привела нас в еврейскую семью. Интересно было видеть, по-

тому что это какая-то другая жизнь: вся семья спала на полу. Там их много было, дети, взрослые. Все уже постелились и лежали на полу, потому что поезд пришел поздно, было уже темно. И вот что значит Юрочкина наблюдательность! Много лет спустя он спрашивает меня: «Старушка, а ты помнишь, как женщина взяла нас на ночлег в Весенях?.. Забыла? А я помню, как она бежала впереди, и луна выглядывала у нее то из-за правого плеча, то из-за левого!».

Итак, мы туда примчались, все замечательно, но потом Юра на нас смертельно обиделся, у него очень был вспыльчивый характер, горячий. Обиделся вот почему. Юра необыкновенно чувствовал музыку, он же окончил Гнесинское училище по классу контрабаса, но дело не в контрабасе, а в том, что Юра чувствовал музыку, а у нас этого не было.

И вот как-то вечером он пошел в ближайший ресторанчик и увидел, что там играет замечательный оркестрик. И Юра нам позвонил (а тогда был один телефон на всю эту гостиницу) — и перепуганная дежурная прибежала к нам в номер: «Вас к телефону!». Толя испугался, побежал, мало ли что случилось, а оказывается, сидит Юра в ресторане и говорит: «С-старичок! Немедленно приходдите, здесь т-т-такой оркестр, приходите немедленно». А мы не пошли. Он так обиделся на нас, страшно. Он был в этом отношении трудный компаньон, если что-то ему захотелось, куда-то, то нужно немедленно было бежать, участвовать. На следующий день просыпаемся — нет ни его, ни ма-



*Карпаты.
1966 г.*

шинки портативной, обиделся, уехал в Мукачево, дальше. Конечно, мы потом помирились, все прошло, и мы дружили потом до самой его смерти.

А.В.:

— Я помню, когда еще мало с ним был знаком, сказал ему: «Ну, мне не все нравится у тебя, мне «Северный дневник» не нравится». — «Как?!» — ужаснулся Юра. Я-то считал, что это очерковая вещь, не писательская. Для журналиста это блестяще, а для писателя — ну, дневник и дневник. Нас потом помирила баня.

Именно в Карпатах Юра мне сказал: «Ну, мы с тобой, старичок, поедem на Соловки». Ну, поедem. Вернулись в Москву, и буквально через неделю мы устроили каждый свою командировку. Я в журнале «Турист», он взял командировку у «Литературной газеты». Мы приехали в Архангельск, а в Архангельске у Юры было очень много друзей, этот город — его любимый. Вечером мы пошли в гости к какому-то моряку, капитану. Мы там пили впервые какой-то заграничный ром, коньяки какие-то.

А на другой день был теплоход «Татария». Мы сидели там с Юрой в ресторане, Юра рассказывал что-то, а потом зазвучала песня «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой...», и Юра заплакал. «Что ты, — говорю, — так уж любишь эту песню?» — «Старичок, ты ничего не понимаешь!». И Юра тут раскрылся мне в другом качестве. «Вот ты понимаешь, я когда читаю «Тамань», я плачу, я плачу!». Это меня потрясло совершенно: какая глубокая должна быть душа, чтобы чувствовать и «Сережку с Малой Бронной», и в то же время «Тамань». Впервые я видел его таким тихим, нежным.

Приплываем на Соловки рано утром. Там был председатель Соловецкого чего-то, мы пришли к нему, представляемся: мы, мол, журналисты. Тогда это звучало гордо, их мало было. Юра говорит: «Я — Казаков». «А что вы написали?» — говорит председатель и таким тоном, как будто это допрос. Юра начал заикаться, назвал три-четыре книги. Юра возненавидел тут же этого председателя. Поместили нас с Юрой на турбазе. Она находилась в Соловецком монастыре, в башне, из которой открывался вид на море, на озеро Святое.

Дня через три или четыре мы решили поехать на велосипедах на Реболду. Велосипеды нам дали на турба-



зе. Реболда — это северная оконечность Соловков, дальше там открытое море и остров Анзер. Когда едешь, все нормально, но стоит остановиться на секунду, как тебя облепляют со всех сторон комары. Но мы доехали, это расстояние немаленькое, километров, наверное, десять. А около моря комаров обычно не бывает, ветер дует и сносит их. Мы оставили велосипеды, как-то договорились, и нам дали баркас. Приплыли на Анзер и увидели вечную тишину, там ни одного живого жителя не было. Когда баркас от нас уходил, договорились так: когда захотим обратно, разожжем костер, и на том берегу — почти за три километра — он будет виден, и за нами вернутся. И вот мы остались посреди этой тишины, и Юра говорит: «Старичок, смотри какие березки — как свечечки. Давай с тобой поклянемся, что мы сюда вернемся». Ну, поклялись, но я-то вернулся, а он нет.

Дальше мы пошли по острову. Дошли до скита, там все разрушено, я вошел в этот скит — там все висело на волоске, того и гляди оборвется, Юра кричит мне: «Толя! Не ходи! Не ходи туда! Оборвется!». Ну мы обошли, не весь, но пол-острова.

Стояли белые ночи. Самые-самые белые, какие бывают только в конце июня. К вечеру, часов в десять, разожгли костер, лодка приплыла, нас отправили назад в Реболду. Там оказалось, что у Юриного велосипеда кто-то отвинтил ниппель. Еще помню, иду я буквально в ста метрах от монастыря, а по дорожке бежит заяц на меня, навстречу, прямо к ногам! Я аппарат даже не успел навести, как он увидел меня — и наутек!

И вот пришла пора нам улетать с Соловков, а Юра боялся летать, но что делать — полетели. Я-то привык летать, а ему было тяжело.

Так что альбом «У Белого моря», вышедший в издательстве «Планета» только в 1982 году, начинался вот с этой поездки. Этот самый альбом держал в руках Юра за две-три недели до смерти.

*Истории
и комментарии
к фотографиям*





*Золотая пора (Золото бедных).
Костромская область, 1990 г.*

ЗОЛОТАЯ ПОРА (ЗОЛОТО БЕДНЫХ).
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1990.

(см. «Избранные фотографии», с. 181)

Рассказывает Ирина Стин:

— Меня спрашивали: что за золото? Где оно тут? А мы только этим осенним золотом и жили. Всегда хотелось на волю, в лес, в поле, под дождь, ни за какие коврижки не оставаться здесь, в городе, не зарабатывать деньги. Я ведь деньги не люблю, и они меня не любят. И я им всегда говорю: «Я вас не люблю». А не люблю их вот почему: за их наглую власть над людьми. Мне очень жаль людей, что они тратят свою жизнь, свои силы, горбатятся на какую-то чепуху — и только чтобы прокормиться...

БЕЛОЙ НОЧЬЮ.

(Альбом «У Белого моря». М.: Планета, 1982)

Рассказывает Ирина Стин:

— Есть такой тип мужчин, очень противный. Он как бы все время красуется. Все время старается показать, какой он золотой-незаменимый. И вот к такому человеку



*Белой ночью.
1982 г.*

мы попали на постой в Варзуге. Но я бы его не вспоминала, если бы не лебедь Яша.

Яша отбился от стаи, и наш хозяин взял его к себе. Лебедь летать не мог и жил в этом доме. Летом хозяина на работу провожал. Такая у нас есть чудная фотография: идет лебедь, за ним хозяин, а за ним, задрав хвост, кошка. Вот это каждое утро происходило и каждый вечер.

Никто Яшу не обижал, но его дразнили, кричали: «Яша! Яша!». Он растопыривал крылья и бежал, хлюпал тяжело так ногами, мол: «Я щас расщипаю тебя в клочки». Поддалась даже и я этому хулиганскому номеру, Яша уцепил меня за джинсы и не хотел отпускать за мое нахальство. А жизнь у бедного Яши была очень жалкая.

Тут надо вам сказать, что деревенские русские люди бывают все-таки очень странные, с моей точки зрения. Хоть есть и сторонники этой самой крестьянской прозы, и они, конечно, горой стоят за народ и за крестьянство, и им кажется, что ничего лучше этого и нет на свете, а между тем и есть, и должно быть.

В деревне к животным, да и к людям отношение часто отвратительное. Сталкивались мы с этим, к сожалению, неоднократно. Собак не жалеют и не кормят, на короткой цепи держат, воды им не ставят. Жен бьют и ругают, детей гоняют. И все это так глупо и так не нужно. Может быть, это атеизм привел к такому, не знаю.

Так вот этот лебедь Яша. Мы там были летом и были зимой. Летом мы видели как он шел по тропиночке к речке, целый день там проводил, иногда пытался летать. А зимой Яша уже не выходил и сидел дома. А дома это вот как выглядело: конечно, уже не было ни коровы, ни лошади, ничего, советская система уже почистила. И огромный крытый двор стоял пустой, а Яше в этом голом, большом, пустом пространстве, где уже ни лошадей, ни коров, никакого тепла нет, — ему поставили какую-то странную самодельную печку. И она, вероятно, излучала какое-то там тепло. И Яша около нее толочся, переступая с ноги на ногу, на снегу. Ну почему ты, сукин сын, не возьмешь охапку сена или соломы, почему не положишь птице? Почему она должна стоять на снегу? «Да не, они привычные».

Слышим утром такой разговор между хозяйкой и мужем. Она ему говорит: «Омманывашь, не кормил Яшку-ти, ревит, ревит Яшка, колотится. Омманывашь, не кор-

мил!». — «Ох-ох-ох», — говорит хозяин, очень довольный, что его уличили в этой игре, будто бы он покормил, а он не покормил. И тогда уж, играя плечами, он берет ведро, наливает холодной воды и запускает туда куски черного хлеба. И бедный Яша шейку свою туда запускал и там ловил кусочки. И это был его завтрак, обед и ужин. А что значит «ревит, колотится»? На самом деле Яша держался необыкновенно скромно, и голосок у него был тонкий, а звук был как у губной гармошки. Он тихонечко стучал и издавал жалобные звуки.

Часто, часто я, грешница, думаю: насколько животные лучше людей. Что-то же из них вынута гадкое, что есть в людях. Ведь сколько лишнего у нас!

ВО ВРЕМЯ ОТЛИВА В ГОСТИ.

(Альбом «У Белого моря». М.: Планета, 1982)

Рассказывает Ирина Стин:

— Кино на той стороне, и девочки, чтобы побыстрее туда попасть, переходят вброд небольшую речушку. Кажется, ничего особенного, но это же поэзия повседневности.

Мы все старались отделить гадость жизни от поэзии жизни. Показать людям: вот какая красота вокруг вас, вот как можно жить — и что же вы делаете?

Люди сами себя лишают всего доброго и хорошего. Помните деревянные мосточки в Архангельске, в Вологде? На них пружинит нога, идти хорошо, мягко, да еще тебя и чуть подбрасывает. Как ребенку это приятно, да и взрослому за милую душу. Нет, теперь все залили асфальтом.

Вот французы — молодцы, берегут все — от калачиков до народных танцев. Они берегут все, и поэтому там и в провинции интересно, и в Париже. А Москва — наполовину Манхэттен — и выглядит большой душой. И мы сами дураки, потому что легко поддаемся ничтожному начальству.

Когда-то, еще в 60-е годы, ехала по деревням с одним шофером, и мы разговорились, откуда вообще эта революция окаянная взялась, откуда и кто ее внедрял. Шофер был пожилой человек и застал то время. И он мне говорит: «Вот смотрите по нашему селу — и сейчас вид-



Во время отлива в гости.

1982 г.

но, что село большое было, богатое. А самый пропащий человек у нас был Гуренок, ну совсем никудышный. И вот только наступила советская власть — и что ж мы видим? С пистолетом в руках — Гуренок! Не кто-нибудь из уважаемых людей, кто умел хозяйствовать, грамотно руководить, как-то себя зарекомендовал. Нет, Гуренок размахивает пистолетом, всем грозит. Одних разорил, других сослал, третьим помог исчезнуть с лица земли».

И вот брали этих гуренков, потому что кто же еще будет так себя вести — кто будет убивать близких, разорять церкви? Только последняя дрянь. Вот его вытащили, даже не отмыли, как вынули из выгребной ямы, так всем и поставили — вот, пожалуйста, это наш представитель, будьте любезны любить и жаловать, а главное, подчиняться.

Чудно мне рассказывала одна женщина: «Приехали эти городские-то, не наши-то, приехали, собрали народ в клуб и говорят: «Нам — земля прямая и ровная, а вам — овраги и колдобины». А мой муж встал, мужик молодой, крепкий, красивый, говорит: «Нет, мы здесь родились, эта земля наша, так что вам — колдобины и овраги, а нам — прямые поля». Тут же в зале его арестовали, и больше он среди живых не появлялся. Вот человек подал голос, совершенно справедливый. Ах, вот как ты заговорил? Все, тебя нету. И какое могло быть заступление — ну, застрелят еще одного или двух. У всех дети, семьи, родители. Что было делать? Вот так и складывалось.

У русского народа есть один страшный недостаток: он не умеет объединяться. Он сам себя и предаст, и продаст, и гуренок всегда найдется. Вот собрались бы мужики человек пятьдесят — но нет.

Им вскружили голову, сказали «земля и воля», что может быть лучше для крестьянина? Он все отдаст. Получил землю и волю? Вот прошло сколько лет — без малого сто! — и что мы видим? Где земля, где воля? Страшное количество людей истреблено просто, физически исчезло. И что меня еще поражает: люди даже сейчас, через столько лет, — они и сейчас не могут дать правильную оценку событиям.



БАШНЯ СОЛОВЕЦКАЯ И КОТЕНОК.

(Альбом «У Белого моря». М.: Планета, 1982)

Рассказывает Ирина Стин:

— Вот образ нашей... нет, не мощи, а полной беззащитности, если уж трезво говорить. Потому что этого самого котенка в любой момент кирпичом могут встретить и кончить его жизнь. Жестокость глупая.

Был у меня один незабываемый разговорчик в Костромской области. Присели мы на какой-то насыпи дорожной. Сидим на насыпи, снимаем сюжет, там на переднем плане цветущая черемуха, а вдали лошади видны гуляющие. Подошел к нам мальчик совсем маленький, лет, наверное, трех-четырёх. Подошел, я с ним стала разговаривать: «Видишь, мы лошадок снимаем». «Ви-ижу». «А у тебя дома кто-нибудь есть, кошечка, собачка?». — «Была. Кошечка». — «А где же она?». — «А ее папка убил». — «А собачка?». — «А собачка была, а ее папка повесил». А ребенок крошечный — вот что он знает, что он слышит, к чему получает навыки. И кто из него вырастет? Ну, на детей все-таки одна надежда, все же думаешь: может, не вырастет негодяй.

АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОН
НА ВЫСТАВКЕ СОБАК В ЯРОСЛАВЛЕ.
1970-е гг.

Рассказывает Ирина Стин:

— Разговор с Картье-Брессоном не получилось, и вина тут моя. Потому что я так была напугана жизнью, столько было позади арестов, расстрелов, что всякое общение с иностранцами выглядело в наших глазах опасным приключением. И было так. Мы оказались в Ярославле на выставке собак. Увидели какого-то человека, скромного, лет под пятьдесят, в курточке легонькой, а надо сказать, что в это время ни курточек таких в СССР не было, ни ботинок на каучуковой подошве. Особенно меня эти ботинки поразили, тогда это было просто чудо.

Я смотрю на него и говорю: «Толя, ты посмотри, какие у него ботинки... Это иностранец». Он говорит: «Да нет, почему ты думаешь, просто интеллигент...».

В это время подходит к нам очень высокий человек, смотрит на нас насмешливо и говорит: «А я вас знаю. Вы — Ирина Стин, а вы — Анатолий Фирсов». Мы озадачены, но не отказываемся. Человек продолжает: «А вот он — Картье-Брессон».

У нас чуть головы не оторвались от волнения! Ведь в то время фигура номер один в фотоискусстве — Картье-Брессон. Эта была величина недосягаемая. И где мы его встречаем — на выставке собак в Ярославле!

Анри Картье-Брессон в России был три раза. Есть фотографии, где люди танцуют в ужасных одеждах, в ватниках и сапогах, на фоне портрета Сталина. Вот это был его стиль, если так можно сказать. Ему не могли запретить, его могли только не пустить, но почему-то пускали все-таки.

После того как кагэбэшник издалека, на расстоянии метров семь, как бы представил нас друг другу, на наших лицах отразился тот эффект, на который он рассчитывал. А Картье-Брессон держал себя очень скромно, очень симпатично, было впечатление, что он человек, с которым должно быть легко. Простой, милый человек европейского толка. Мы ему поклонились издалека, но близко не подошли.

Вина, повторяю, моя. Удобно рассуждать сейчас, когда иностранцы ходят по городу стадами, когда вы мо-



*Анри Картье-Брессон
на выставке собак в Ярославле. 1970-е гг.*

жете их к себе домой пригласить и когда все это безопасно, а тогда даже представить себе нельзя было, что ты разговариваешь с иностранцем. Свои были сложности, современному человеку непонятные. И в результате мы не заговорили с ним. Хотя по городу он ходил, и мы ходили, и на нас аппаратура навешана очень серьезная. Вероятно, ему сказали, что мы профессионалы. Мы уже сделали какие-то книжки к тому времени, и, стало быть, за нами приглядывали. А Картье-Брессон был молодец и хитрец, что не взял с собой никакой аппаратуры крупной, а этот его «Никон» — он не привлекал к себе никакого внимания. Держался Анри очень скромно, как любитель, как будто стесняется того, что снимает.

Можно было подойти и сказать, что мы вас любим, уважаем, обожаем, мало ли что. Показать ему свои книги. Возможно, было бы даже и какое-то интересное продолжение этого знакомства. Но пуганая ворона, бедная, дула на воду.

Несколько раз мы с Анри встречались в городе, кланялись друг другу очень приветливо и спокойно и шли дальше. Конечно, взгляд у него был глубокий, ему была интересна не фасадно-парадная сторона жизни, а что бы он там мог увидеть за фасадом, за забором. Он был настоящий репортер.

РАЗЛИВ. ЦЕРКОВЬ
ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ НА НЕРЛИ.
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1970

(см. «Избранные фотографии», с.116, 117, 131)

Рассказывает Анатолий Фирсов:

— Мы у Покрова на Нерли были в разное время года, и зимой, и летом. А вот в разлив — лишь раз.

Был апрель, где-то середина, двадцатые числа. Вербочка первая цвела. Разлив бывает очень недолго, в мае вода спадает. Поэтому мы торопились. Дошли пешком до моста и там у избушки нашли какого-то мужичка. Он нам дал лодку, и мы поплыли. Хорошо было, тихо, и мы смотрели, где лучше снимать. Прекрасный день: свет рассеянный, приятный, за облаками. Невероятное чувство простора. Очень редко бывает такой мощный раз-





*Разлив.
Церковь Покрова Богородицы на Нерли.
Владимирская область, 1970 г.*



*Полет над Суздалем.
2004 г.*

лив, какой был в тот год. Прямо же к воротам храма можно было подплыть, посреди бескрайней воды оставался лишь крохотный-крохотный островок.

Сложности начались, когда надо было плыть назад. И вот тут мы испытали тяжелый момент: никак не могли выгresti. Вдруг течение какое-то подхватило, гребем против течения, из последних сил догребли до ближайшей суши...

Но вот осталось на снимках это дивное состояние, когда в воде деревья плавают. Лес плавает. Я такого не видел у других на снимках, хотя разлив на Нерли многие снимали. Это нам Господь послал.

ПОЛЕТ НАД СУЗДАЛЕМ, 2004

(см. «Избранные фотографии», с. 123)

Рассказывает Анатолий Фирсов:

— Вертолет, самолет — этого я абсолютно не боюсь, а вот если лезть по лестнице на второй этаж, тут я, знаете, просто сам не свой. Смотрю вниз, и мне ужасно все.

И вот приехал в Суздаль, чтобы в первый раз лететь на воздушном шаре, и не знал, будет страшно или нет, но ребята симпатичные такие. У них там соревнования свои.

И вот меня взяли, и мы полетели! Ощущения просто не передаются. Как будто ангелы тебя несут! Страху ни малейшего, летишь очень медленно, все плавно, как-то надежно. Честное слово, ни капельки страха не было.

А красота открывается с шара необыкновенная. То летим над самой водой, над храмами, прямо чуть не касаясь деревьев. Такой точки нигде не найдешь — купол собора в десяти метрах от тебя, ни с какого самолета такого не снимешь. А то плавно набираем высоту. Над самым Суздалем мы поднялись метров на двести.

Каждый шар сопровождает машина, потому что когда он приземляется, то он очень тяжелый, это не только корзина, еще и парашют этот, его надо собрать, погрузить. А мы оторвались от своей машины, нас понесло ветром и занесло довольно далеко от Суздаля. В поле сухая трава, высокая, кабина слегка наклоняется, не выпасть бы из нее. Вдруг видим странную картину: мужик несет какую-то простыню, идет к нам. Оказалось, это жених несет свою невесту через поле. И вот он увидел нас и пошел



нам навстречу. Хотел невесте чудо такое показать и тем свою любовь проявить. Свадьба была километрах в пяти, и он нес девушку километра три.

Мы были страшно веселы от такой встречи, шампанского им дали. Оказывается, у спортсменов есть такой обряд, что надо всех облить шампанским, и в этом состоит посвящение в воздухоплаватели: над чем ты пролетел — значит, ты граф этих земель.

Потом воздухоплаватели мои говорят молодым: «Давайте мы вас прокатим на шаре!». А девушка: «Не, не надо! Я высоты боюсь». Но парень один все-таки поднял их метров на сорок-пятьдесят над землей. Невеста повизжала немножко, и шар быстренько опустился.

Ну а потом машина нас нашла, и мы повезли жениха и невесту туда, где свадьба была, в деревню. А там на нас смотрели как на гуманоидов — такая глухая деревня. Потом я напечатал этих самых молодых, и фотографии мы им с Ириной послали, они живут где-то в Ивановской области.



*очерк
Ирины Стин*

ДАГЕСТАН.
ВРЕМЯ ВЕТРОВ





1979 г.

Гостил ли ты, читатель, в горах Дагестана? Если, начитавшись Гамзатова, ты заслушался звоном стремян и цокотом копыт, если горские страсти и красота Северного Кавказа не представляются тебе по Пушкину, Лермонтову и Толстому, если в воображении твоём возникают горные аулы с картинами древней жизни, нарядные горянки, спускающиеся к источнику, если до слуха твоего доносится речь горцев (в ней клекот орла и шипение змей), грохот кипящих в ущелье рек, сменяемый тишиной долины, где под ватным одеялом облаков слышны только маленькие трещоточки крыльев стрекоз, и если, намечтавшись, ты ступишь однажды на землю Дагестана, не обессудь, если она окажется камнем!

Среди камня рождается человек, камень был его оружием и защитой, камень — его жилище, камень — символ каждой прожитой жизни.

Камень на камень, камень на камень — так строится дом горца. Камень на камень, камень на камень — и следующий дом оперся на первый и встал выше. Камень на камень, камень на камень — веками складываются от подножия к вершине горные селения. Слышен звон — это обтесывают камень. Зачем? Для жилья, для очага, для дороги или для смерти. И земля здесь — тоже камень. Как не страшно здесь жить, как не страшно? Когда горец видит

большой город, где дома как горы, улицы — ущелья, а грот — как непроходящий горный обвал, — вах, думает он, что за люди живут здесь, что за люди?

Камень звенит, камень поет в ущельях, камень свистит на вершинах, камень нежно шуршит, стекая вниз осыпями; камень рушится, гигантской глыбой отвалившись от родной скалы, потому что настало его время или земля вздохнула. Камень! Всюду камень...

Дагестан в переводе — «страна гор». Это только кажется, что горы крепки и надежны. Лавины, обвалы, оползни, осыпи, снежные заносы, гололедица, ветры, ливни, потопа и даже землетрясения чередуются с самой мирной погодой — теплом, солнцем, и прекрасные пейзажи кажутся тогла обителью красоты и покоя. Но в горах можно найти все, что угодно, только не покой. Ничто так не обманчиво, как надежность гор...

Как гигантские декорации, медленно разворачивается Дагестан — словно громадная сцена, на которой должны происходить неведомые действия. Но какие? Что за таинственная природа здесь и почему в ее опасных объятиях живет человек? Что за люди живут в этой стране, что за люди?

Мужчины и женщины, старики и дети.

Мужчина! «Какой он мужчина, если его не боится?» Тысячи лет знал мужчина свое дело: он — гроза врагов, надежда народа, аула, семьи. Дерзкие, смелые, сильные — вот какие здесь мужчины! Вскочить на коня, драться до смерти или победы, вернуться победителем. Пир победителю, хвала победителю, все — победителю!

А мальчик? Надежда!

А жена, а дочери?

— Женщины... — махнет рукой горец. Мужчина — полный хозяин дома, глава семьи, а женщина — все остальное.

Она должна: родить детей и... носить воду, обслуживать мужа и... носить воду, обслуживать гостей мужа и... носить воду, растить детей и... носить воду, вести хозяйство — варить, сушить, вялить, печь, толочь, топить, стирать, шить, штопать, вязать, убирать и... носить воду, работать в поле, огороде, в саду, в магазине или на почте и... носить воду. Каждый день, иногда до десяти раз в день. Вниз — быстрой походкой — кувшин еще пустой.

Вверх — медлить некогда, обычно два кувшина сразу. И так всю жизнь.

Суровая горская жизнь ищет утешения в красоте. Тяжкая обязанность девочек, девушек, женщин носить на себе воду из источника, поднимаясь с тяжелыми сосудами вверх, к дому, стала и обрядом: прекрасные длинношеие кувшины держатся на расшитых помочах, с элегантно небрежностью перекинутых через плечи. Идя за водой, надевают нарядное платье.

«Зачем я родилась девочкой?» — думает девочка. Наступит время, отшумит свадьба, и ей откроется тайна, ради которой стоило родиться девочкой, — она становится матерью. А в Дагестане мать почитают почти как святую. Сколько радости и гордости принесет ей материнство! Уважать, любить мать, подчиняться ей — закон непреложный. Горе тому, кто попробует его нарушить! Не иметь детей считается большим несчастьем и позором. В добровольную бездетность ни один дагестанец не поверит, так же как если бы ему сказали, что человек шутки ради хочет отрезать себе руку.

Но почему, откуда страстная привязанность к этой трагической земле, желание утвердиться на ней, продлить свой род?

Слишком дорого она досталась, эта земля. Вечные войны тысячелетия спорили с человеком: селения разоряли, сжигали: все выше и круче селились люди — все неприступнее выбирали места для жилья.

Знаменитый аул Кубачи. Золотой аул Кубачи. Сакли его древни и крепки, как пещеры. Стены толсты и вечны, как сами горы. В каждой сакле — камин, в каждой сакле — музей.

— В каждой сакле?! А сколько их?

— Никто не считал. Сколько домов — столько музеев.

— А что в музеях?

Тут все есть: серебряные, медные, фаянсовые и золотые редкости, бронзовые котлы, серебряные блюда и кувшины, кубки и сосуды для вина, старинное оружие, стремяна, цепи, есть серьги, подвески, пояса, пряжки, браслеты, кольца, есть и древний восточный фаянс.

— Откуда это?

«Кубачи никогда не был без мастеров. Человека не было, кто не знал бы ремесло. В семь-восемь лет уже получал ремесло и начинал работать. Так было всегда!» — ска-

зал мастер Гаджибахмуд. Когда же началось это «всегда»? Давно. Уверяют даже, что до Александра Македонского.

От отца к сыну. Эта цепь, не прерываясь, дошла до наших дней. Только теперь дети аула учатся в школе, здесь же изучая кубачинское мастерство. А работать начинают не раньше окончания школы. В старину, когда мастер достигал совершенства и хотелось ему показать свое мастерство дальше аула и даже дальше Дагестана, когда хотелось ему посмотреть на искусство других людей, отправлялся он в Грузию, Персию, Турцию или Египет.

— А что брал с собой мастер?

— Голову брал! Мало ли что ждет человека так далеко. Обман, вино, женщины. Голова нужна!

— Деньги нужны в такой путь.

— Откуда у горца деньги? У него семья, дети. Руки — его деньги! Руки нужны.

Садился мастер на коня; голова — вот она, руки целы и кое-что умеют. Кинжал на боку. А что еще? Инструмент, который весь уместается на ладони. Легко ехать! Сколько увидит, услышит, узнает и потом долго будет рассказывать детям и внукам. И обязательно привезет из дальних стран что-нибудь такое — прекрасное. А иначе кто ему поверит, что он там был? Может, он только хвастает, а сам просидел на базарной площади за перевалом?

Привозил — хорошо. Никуда не ездил — свое оставлял. Так и хранятся лучшие работы сыновей, отцов, дедов и прадедов: гравировка по металлу, чеканка, чернь, зернь, скань и даже эмаль — все это дело рук кубачинских мастеров. У одних в музее персидский фаянс VI века, есть и бронзовые котлы XI века, есть камин, которому пятьсот лет, — ученые прочитали на нем надпись. Только камин этот не в музее — это обычный семейный очаг, где женщины, сменяясь поколениями, готовят пищу.

Прекрасны одежды кубачинских женщин! Все они носят легкие длинные шарфы — белые, расшитые золотой нитью, яркие платья, пестрые вязаные джурабы — нарядные носки из овечьей шерсти. Кажется, что попал в большой театральный ансамбль, где все уже нарядилось для выступления, но пока разбрелись по аулу. И кажется, что в Кубачах всегда праздник.

Из поколения в поколение назначением и смыслом каждой жизни было одно — сберечь все, что оставили предки: образ жизни, язык, веру, обычаи, обряды, предания, песни, жилища, одежды, ремесла, искусства — все сохранить, все передать детям, не дать исчезнуть, не дать раствориться...

Когда жителям аула Куруш, одного из самых высокогорных поселений Европы, предложили переселиться в специально построенный для них на берегу моря поселок Новый Куруш, — преимущества жизни в долине очевидны, — они отказались.

— Спускаться с гор? Куда?

— Вниз, в долину. Там море, земля хорошая и шоссе проходит.

— А кто же здесь останется?

— Зачем оставаться?

— А зачем уезжать?

— Ну там же хорошо!

— Если все с гор уедут — в долине тесно будет.

— Не будет. Берег большой — всем места хватит.

— Все?! Тогда горы опустеют...

Хотя, казалось бы, ясно, что жить в горах труднее, пенсию в долине назначили сорок рублей, а в горах оставалась двенадцать. Потом, правда, сравняли и даже увеличили пенсии, но это было потом. Пришлось все-таки спускаться. Что же теперь?

Каждый вечер старики Нового Куруша садятся лицом в сторону гор, к аулу, который нельзя увидеть за перевалами, вершинами, среди облаков. Но они смотрят туда каждый вечер, пока не стемнеет. Живут. Но смиряются они со всеми этими красотами и удобствами не раньше третьего поколения.

О Дагестан! Тысячелетия жил ты опасностью. То арабы сюда приходили, то турки, то Персия, ближайший сосед, — и все приходили войной!

Припав к кремневой поверхности совершенно отвесной стены, аул Кахиб стекает с нее, как поток окаменевшей лавы, пролившейся бог знает в какие времена. Защититься от врага, выбрав место, куда и врагу попасть не захочется, а если уж и это не помогало, оставалась храбрость отчаяния.

Крутые склоны, недоступные скалы, ущелья и дикие реки — вот защита дагестанцев; каждое селение на-

чиналось и оставалось жить в самых невозможных для жизни условиях.

Каждое селение находило свой способ защиты, аул Корода — совсем особенный: он стоит на песчаном холме, и сакли его висят над отвесными осыпями. Попробуй враз взять приступом аул Корода — ничего не получится. Сыпучий пьедестал селения — надежная его защита: стены, как вода, потекут под руками захватчика, а камни сами рухнут на голову несчастного. Ловко придумано! Но зачем теперь, в наше время, все это? Зачем песок, который постоянно течет, грозя уронить крайние сакли и засыпая дорогу? Зачем эти камни, готовые рухнуть в любое мгновение?

В старых аулах стоят еще сторожевые башни. На что они теперь? На что и самая неприступность аулам? Башни служили когда-то убежищем; в старину они укрывали людей от кровной мести, выдерживали осады врага, берегли покой горцев. Здесь, на верхней площадке, наблюдатели, едва заметив опасность, мгновенно зажигали огонь. Заметив его, в другом селении мгновенно зажигали свой: огонь на башне — сигнал в горах. Весть об опасности летела быстрее коня, быстрее слова.

Аул Гоор выбрал себе горделивую вершину, Снизу, за острыми зубцами гор, аул не виден — его легко миновать, не заметив, заметив же — нелегко покорить. Теперь аул покинут. Здесь держатся еще несколько стариков, доживая последнее. А жители помоложе, уступая уговорам, переселились ниже... на двести метров. У подножия верхнего Гоора раскинулся новый, но как же тяжело добираться и до него!

— Люди моего аула не умеют жить! — печально говорит сопровождающий нас человек.

— Почему не умеют?

— Если бы умели, разве поселились бы здесь?

— А вы, Гаджи, уехали бы отсюда?

Он молчит и смотрит вдаль. Что видится ему там, за облаками? Покой цветущей долины или зеленый Каспий? Он молчит, и я понимаю, что вопрос мой бестактен. Дагестанец без родного аула — сирота. Вокруг — поля облаков и острые всходы вершин. Эти плантации — вечные спутники горца...

Здесь все тяжело: тяжелы огромные камни, нависшие или уже рухнувшие с вершин, тяжелы удары

воды, кипящей камнями, тяжелы кувшины с водой и тяжелы браслеты, тяжелы корзины с землей, которые нужно тащить вверх всякий раз, когда смывает огород, тяжелы оползни и мощные снега, тяжелы древние украшения, тяжел и гром в горах, тяжела и сама жизнь...

Но что здесь легко?

Легка только походка горцев. А если это так — значит, сильна их вера в свои дела, значит, они хорошо знают, куда и зачем спешат.

Мудрость древнего уклада жизни горцев — ожидание неожиданного: жилище, продовольствие, запасы тепла и топлива, одежда — все должно быть готово, каждый человек и весь аул. Никто не должен быть застигнут врасплох ни врагом, ни стихией. Нет, не все устарело, и многое еще пригодится в условиях гор. Не зря приспособивались тысячелетиями народы к здешней жизни... Однако как же быть с сегодняшним днем?

Еще почетом окружены старики как старейшие и источник мудрости, но им уже трудно соперничать с телевизором. Еще собираются старики на годекан — традиционное место сбора, и на их век хватит еще уважения, но следующему поколению уже не знать их непререкаемого авторитета, и скамья, где сейчас сидят старейшие, уже не соберет людей, разбросанных по свету.

Уже напрочь отказались от лошадей, но там, где конь прошел бы уверенно, машина срывает тормоза и летит в пропасть.

Еще слышны рыдания ослов, но чаще — рев моторов. Еще подрастающим мальчикам строят в аулах дома, но все чаще они пустуют.

Уже в аулы привозят баллонный газ, но в древних саклях привкус дыма: веками согреты они очагом — бесчисленные поколения женщин сменялись у его огня. Здесь вечно слышны голоса детей, и чья-то старость переступает столетие.

Водопровод в условиях Дагестана, наверное, не проще сделать, чем в Древнем Риме. Но когда приходит он в селение — сразу исчезает многое, что связано было с источником веками. Для девушек источник был родником надежды: идя за водой, надевают нарядные одежды, потому что кто-то высматривает невесту. На камнях у источника было принято писать изречения о красоте жизни, о значении в ней воды, о добрых руках, открывших выход

воде. Поэты и певцы восхваляли источник, дающий людям воду, но нельзя же петь хвалу водопроводному крану! Исчезли гордые скакуны, звон стремян и звон копыт не слышны больше в горах.

Последние лошади служат чабанам, потому что ни на машине, ни на мотоцикле по горным пастбищам не проедешь, но во всем остальном доверились машинам.

Поэты не находят в себе силы петь хвалу железу...

Прелестны национальные одежды, с которыми первыми расстались мужчины, но еще носят сельские женщины — не отсюда ли их застенчивость, неловкость, когда они чувствуют, что одеты не так, как городские? Городские моды пробрались уже в аулы, тесня и загоняя прекрасные одежды горянок в сундуки.

Что ж, покидать горы, потому что хозяйство нерентабельно, снабжение и медицинская помощь зависят от опасных и ненадежных горных дорог, а весь уклад жизни «отсталый»?

Что ж, опустеют аулы, оплывут рукотворные террасы, на которые не одно поколение таскало корзинами землю, укрепляя края камнями и собирая тут свой хлеб; тают уже и теперь, растворяясь во времени, оставленные аулы, исчезают сторожевые башни...

Всему нужна забота — глаза и руки человека.

А не придется ли, покинув, вновь «осваивать» горы? Как едем мы теперь спасти землю России, назвав ее Нечерноземьем? А скоро и весь Русский Север потребует внимания, потому что коренное население там иссякает. Бездонны ли народные копилки?

Время подтверждает, что значение жизни на земле не вмещается в «сельскохозяйственные показатели». Оказалось, что есть показатели поважнее многих — показатели совести. А это очень тонкий инструмент

К семидесятым годам и в Дагестан проникла, расширяясь, необъявленная система отношений: право денег... Но зарплаты часто невелики — где же взять на все деньги? И вообще — жить или приспособливаться? Тяжело закрутилось это колесо, прокручивая и судьбы... Магомед — судья, который не брал взяток. Легко ли достается ему каждый день жизни?

Приходят. Кладут газетный пакет. Он знает: там деньги. Говорят: «Мы собрали. Если мало — еще соберем!»



Горы Дагестана.

1979

Отпусти шофера — он задавил человека не нарочно. Отпусти — у него дети. А того все равно живым не сделаешь...».

«Люди слишком стали доверять деньгам. Они думают, что Закон и я — одно и то же!» — горько вздыхает Магомед.

А Гайдар — дагестанский доктор Спок, врач, создавший чудесную и долгожданную книгу о новорожденных младенцах, об уходе за ними и первой помощи? Книга не вышла в свет. Ему нечего было приложить к рукописи, да и гордость не позволяла.

Совесть — вместилище человеческого опыта, и каждому достается частица его. Нужно растить, беречь, спасать совесть, потому что она — фундамент личности, фамилии, нации, времени. Времена приходят и уходят, а совесть остается. Страж совести — культура и традиции. Но если многое из этого богатства растеряно, раздроблено и отдельными блестящими вспышками вспыхивает, напоминая о целом, как эхо, заменившее уверенный голос родного?..

Лет десять назад произошел случай, взволновавший весь Дагестан. Молодой учитель взял троих старшеклассников, мешки, и все вместе полезли в сад старика. Вероятно, и яблок-то не было столько, сколько мешков, вероятно, яблони были как дети, которых растил старик. А эти были из соседнего селения, они знали, какой ценой достается здесь каждое яблоко...

Одним выстрелом старик убил учителя!

Примчалась милиция. Стариков надо уважать, а тут арестовывать надо!

— Что ты наделал?! Ты убил человека!

— Это не человек! — ответил старик.

Столкнулись два понимания мира, которым рядом идти невозможно: отчаяние руководило стариком, бездумие — молодыми.

В большом несогласии с временем оказалась горская жизнь. Все перевернулось в их привычной, хотя и никогда не бывшей спокойной, жизни. Традиции, обряды, обычаи, одежды, жилища — все терпит грубое вмешательство времени. Добро и зло, старое и новое — все это воюет в них и с ними: нет ясности и согласия между ними и внешним миром, который для них все то, что не их земля.

И вот теперь, когда войны кончились, когда стала бессмысленной обособленность аулов, а их неприступность



опасна для современного транспорта, и традиционный уклад жизни, так горячо и долго охраняемый горскими народами, вдруг оказался неожиданно древним среди раскрывшегося им мира, смятенные духом люди не хотят рассеяться по земле, хотя бы и более удобной и плодородной. Их манят городские удобства, но что там делать, среди чужих? И они остаются на каменной земле предков, любя ее, страдая на ней, но не предавая ее. В Дагестане не наступило еще время, когда море пахнет нефтью, альпийские луга — машинным маслом, а стандартные кирпичи хлеба не пахнут вообще. Страна полна еще сама собой — ураганы урбанизации и прогресса не растащили еще древний уклад жизни.

Возможно ли, что лет через двадцать исчезнут живые аулы? А в удобных для туристов местах останутся лишь этнографические музеи-заповедники, в которых будет картинно восстановлен «быт горца XX века»?

Будем же счастливы, что все, что мы увидим в сегодняшнем горном Дагестане, — подлинное. И все, что видим на фотографиях, — сама жизнь республики, хотя и очень малая часть ее.

В горах, где снег заносит дороги, где обвалы скрывают и уничтожают их следы, где разливы рек уносят усилия человеческих рук, оползни внезапно накрывают постройки и где, кажется, невозможно жить человеку, вдруг расцветают альпийские луга, сплошь укрывая цветами огромные пространства, пчелы летят на чудные запахи, овцы пасутся на зеленых склонах, реки успокаиваются и нежно звенят просветленной водой, вершины гор пронзительно сверкают серебром вечных снегов, нарядные девушки спускаются к источнику, чья-то песня тянется к небу, и кажется тогда, что жизнь здесь прекрасна и вечна.

Разве можно не любить такую страну? Разве можно оставить ее? И люди забывают все, что было плохого. И каждой весной надеются на лучшее.

Пусть же надежды их сбудутся!

(Журнал «Смена», 1987, № 10)

Моя отчаянная борьба за справедливость не принесла ничего, кроме горечи и сердечного приступа. В наказание за донкихотство мастерскую мне не дали. Все это лишь симптом времени, но для меня большая потеря. Мы въехали в двухкомнатную квартиру, где одна комната — моей мамы, другая — приняла в себя весь наш профессиональный реквизит из старой мастерской. И, таким образом, нет ни комнаты, ни мастерской. Все упаковано в ящики и, сгрудившись, занимает практически все помещение...

Старый дом снесли. Когда мы уезжали, бульдозер ждал уже во дворе. Теперь там пустое место и нет дома, где я родилась, где слышались голоса моих близких. Они там жили, умирали или уходили, чтобы не вернуться. И для меня это было моей Родиной. Пока стоял дом, мне казалось, что они со мной.

Здесь, в новом доме, это невозможно. Я вдруг поняла свое одиночество и тот обман, за который я продержалась так долго, — старый дом казался мне обитаемым. Сырость его стен, скрипы ступеней, запах старого дерева, хлопки дверей — все было свое. Помню такой смешной случай: мне было лет 17, я возвращалась домой поздно, и в переулке совсем недалеко от дома вдруг преградил мне путь взрослый мужчина и сказал с угрозой: «Опасно ходить так поздно! Может что-нибудь и случиться...».

— Нет, — ответила я ему. — Я здесь родилась — это мои переулки, и здесь со мной ничего случиться не может!

Помню, как он с каким-то испугом отступил и я прошествовала дальше. Кругом не было ни души и, собственно говоря, «могло случиться»...

Теперь я чувствую себя на чужбине: дом полон разного рода парвеню — людей, нахватавших денег, но не получивших культуры. Они ценят друг друга по «Фордам» или «Вольво», тряпками или породистыми собаками утверждают свою причастность к «культурному миру». В их понятии достаток определяет достоинство. Всесильное заблуждение!

Снесен старый дом... И хотя, казалось бы, дело не в месте, но все сразу изменилось стало очевидным оди-

ночество. В старом доме вполне естественным казалось, что в любой момент может открыться дверь и на пороге появится кто-то из близких мне людей.

Ушла целая эпоха. Почти все мои старые знакомые владели двумя-тремя европейскими языками, были широко образованны, умны и красивы. Если принято говорить «настойной книгой была», то не настольной, а книгами их души были Ахматова, Цветаева, Бунин, Байрон, Лермонтов. Они умели, потеряв все, быть безмерно, недоступно богатыми: богатством духа. Но кому об этом скажешь? Кто поймет теперь утрату? И хотя для них старый дом был лишь случайным пристанищем, далеким от их гнезд, для меня он их объединял, и потеря его меня поразила. Я не могу больше ждать!

И теперь я прихожу на пустырь и думаю, что этого не может быть.

А в новом доме — новые звуки: ни мыши, ни скрипа деревянных ступеней — здесь хлопают дверцы машин и орут транзисторы, а в редкие моменты тишины слышны из зоопарка кошачьи голоса павлинов: ау, ау, ау! Тоскливо, отчаянно и безнадежно.

Впрочем, и у Форсайтов были слышны голоса павлинов.

Ветер гремит мерзлыми ветками, рвется и воев в лифтовой штольне, раздувает занавеску, и кажется, что слышно штормовое море. Волны катятся, переливаясь из шума в шум, природа взволнована, кто-то зовет на помощь. Ах, если бы можно было помочь!

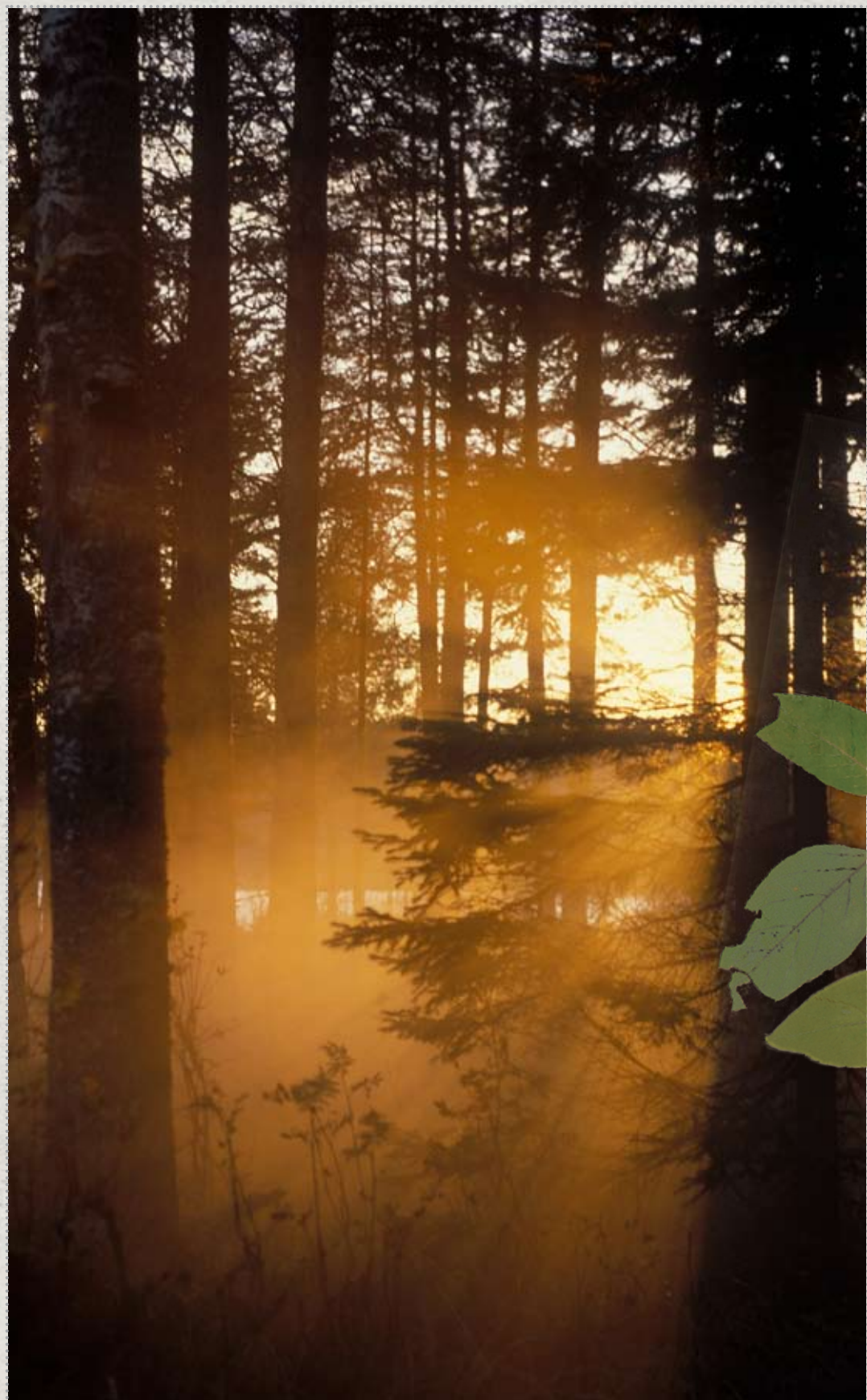
Всего доброго всей Вашей семье. Пишу и вижу пред собой Ваши живые, смеющиеся лица, и кажется, что говорю с Вами. Будьте счастливы и удачливы в Новом году!

*Искренне любящие Вас
Ирина и Анатолий
1979 г.*





*На новой квартире.
1970-е гг.*



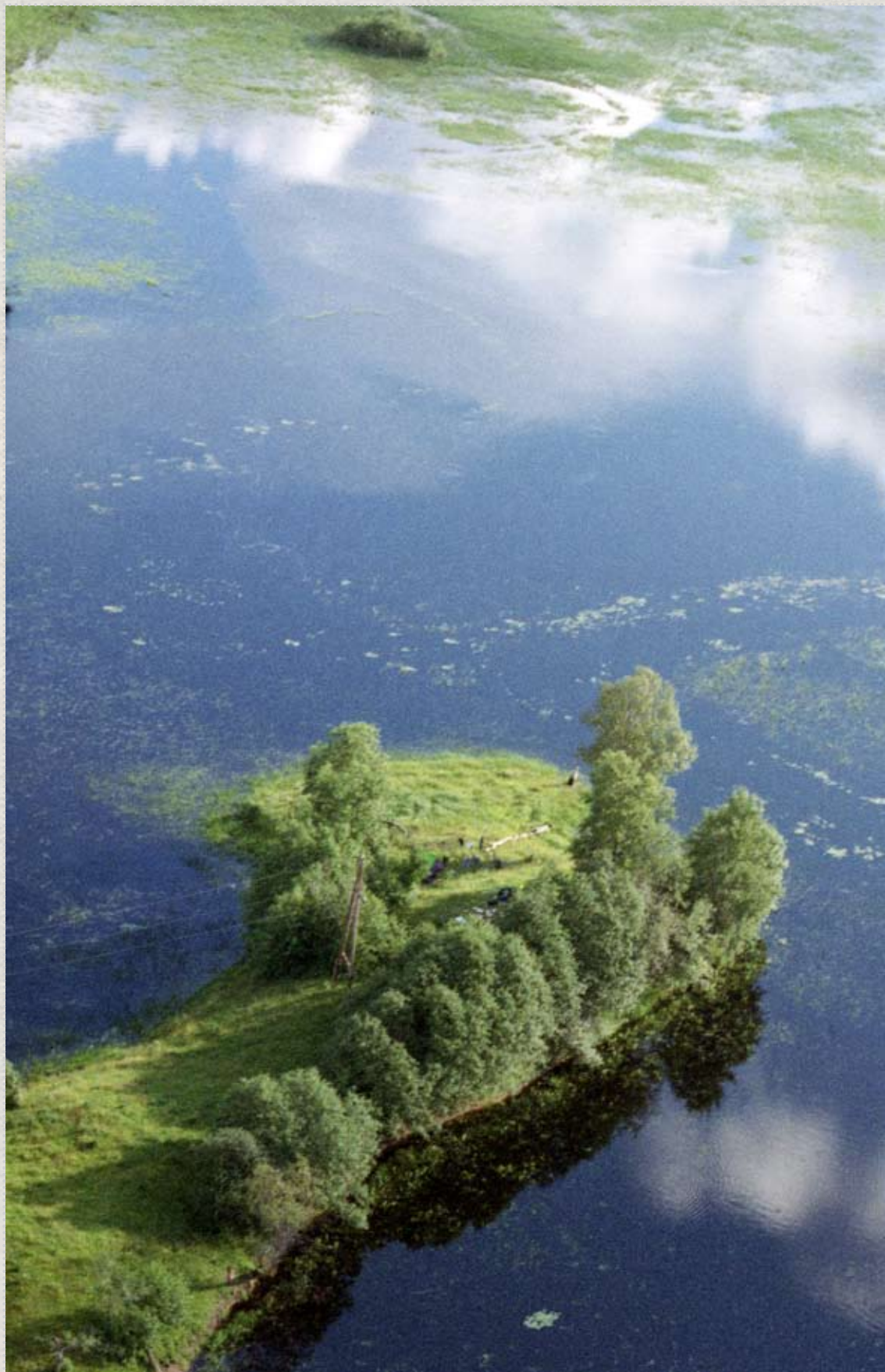
Когда покину твердь земную,
Пройду сквозь пелену небес,
В ворота радуги взойду я:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»

И встану я с моим народом
Под золотые небеса,
Пойду вселенским крестным ходом —
К плечу — плечо, к душе — душа.

А здесь народ — как будто море,
Он словно бесконечный лес...
Забудь теперь, душа, о горе:
Христос воскрес! Христос воскрес!

*Монахиня Матрона
(в миру — Ирина Игоревна Стин)*











Острый осколок великой культуры



Дмитрий Шеваров

Бывает, человек настолько растворяется в своей профессии, что сама его фамилия становится синонимом мастерства в данном ремесле. И это замечательно. Но Ирина Игоревна Стин и Анатолий Васильевич Фирсов – это другая история. Да, они выдающиеся, давно признанные мастера художественной фотографии, но в этих словах – лишь предисловие к их судьбам. А судьбы эти далеко выходят за пределы профессионализма, за рамки прекрасного искусства фотографии.

Особенно это чувствовалось в Ирине Игоревне. Фотография была лишь частью ее существа, ее души, ее яркой личности. В полной мере это относится и к Анатолию Васильевичу, который по своей сдержанности и скромности, предпочитал часто держаться в тени, радостно отдавая первенство жене.

Надеюсь, предпринятое в этой книге сцепление, соединение фотографий с рассказами их авторов, даст более или менее объемное представление об Ирине Игоревне и Анатолии Васильевиче, об их творческом и жизненном подвиге.

Слово «подвиг» особенно идет ко всей личности Ирины Игоревны, к ее героической натуре. И, правда, разве не подвиг – прожить весь советский век, ощущая себя непримиримым, острым осколком великой культуры русского дворянства, почти поголовно истребленного внутри страны!

Ирина Игоревна Стин своим пребыванием на белом свете взламывала предлагаемые обстоятельства, нарушала навязанные государством правила. Ее же правилами были стержневые устои, они шли из глубины родовой истории.

Беседы с Ириной Игоревной и Анатолием Васильевичем я записывал в январе-марте 2010 года. Это было очень тяжелое время для моих собеседников. Состояние Ирины Игоревны ухудшалось с каждым днем, она уже давно не вставала, терпела страшные боли, каждый разговор давался ей с трудом.

Я старался не прервать ее ни вопросом, ни репликой, ни своими соображениями, а лишь слушал и записывал то, что спешила рассказать эта мудрая, благородная и невероятно мужественная женщина. Конечно, я готовил свои вопросы, но обычно Ирина Игоревна говорила: «Дима, давайте я расскажу вам о Поленово...». Или: «Сегодня ночью я поняла, что не сказала главное... А главное вот что...»

В зените страшного лета, когда я спасался от жары в деревне, мне позвонил Аркадий Григорьевич Елфимов и сказал, что вчера умерла Ирина Игоревна. Я посмотрел на календарь: вчера было 17 июля. И сразу что-то сверкнуло мне сквозь скорбь. 17 июля в церковном календаре - день памяти царственных страстотерпцев. А Ирина Игоревна так живо, искренно и преданно почитала последнего русского императора, как если бы она имела честь знать его лично. Она была монархистом не от политического умствования, и не от ностальгии, а от цельности своего горячего сердца.

Помню, в самом начале нашего знакомства я, рассматривая старинные снимки на стене, сказал «это было при царе» или что-то подобное. Ирина Игоревна тут же протестующе меня поправила:

- Вы что, Дима? Какой «царь»? Царь в сказках. А у нас - Государь! В нашей семье никогда не говорили «царь», а только - «Государь»!

Ту нить верности и чести, которую Ирина Игоревна открыто и отважно натягивала всю жизнь, она скрепила этим вечным узлом нам на память: 17 июля. Для всех, ее знавших, теперь это и день царственных мучеников, и день поминовения монахини Матроны (в миру - Ирины Игоревны Стин).

«...Сего ради к ним с любовию возопиим:

о святии страстотерпцы,

гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите,

землю Российскую в любви к Православию утвердите,

от междоусобных брани сохраните,

мир мирови у Бога испросите

и душам нашим велию милость...»

*Сердечно благодарю тех, кто помогал мне в работе
по подготовке к печати устных рассказов*

И.И. Стин и А.В. Фирсова:

Галину Бурлаеву, Наталию Петрашову,

Сергея Попова и Полину Филиппову.



Содержание

рассказывает
Ирина Игоревна Стин
7

рассказывает
Анатолий Васильевич Фирсов
59

рассказывают
Ирина Стин и Анатолий Фирсов
77

вспоминая
Юрия Казакова
95

Истории и комментарии
к фотографиям
109

Очерк Ирины Стин
Дагестан. Время ветров
118

послесловие
Дмитрий Шеваров
137

*воспоминания,
устные рассказы*

Ирина
СТИН и ФИРСОВ
Анатолий

Вступительные статьи:

АРКАДИЙ ЕЛФИМОВ,
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

Макет, оформление, верстка, prepress:

ИВАН ЛУКЬЯНОВ

Редактор-составитель:

СЕРГЕЙ ПОПОВ

Литературная запись, комментарии:

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ

Консультант:

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

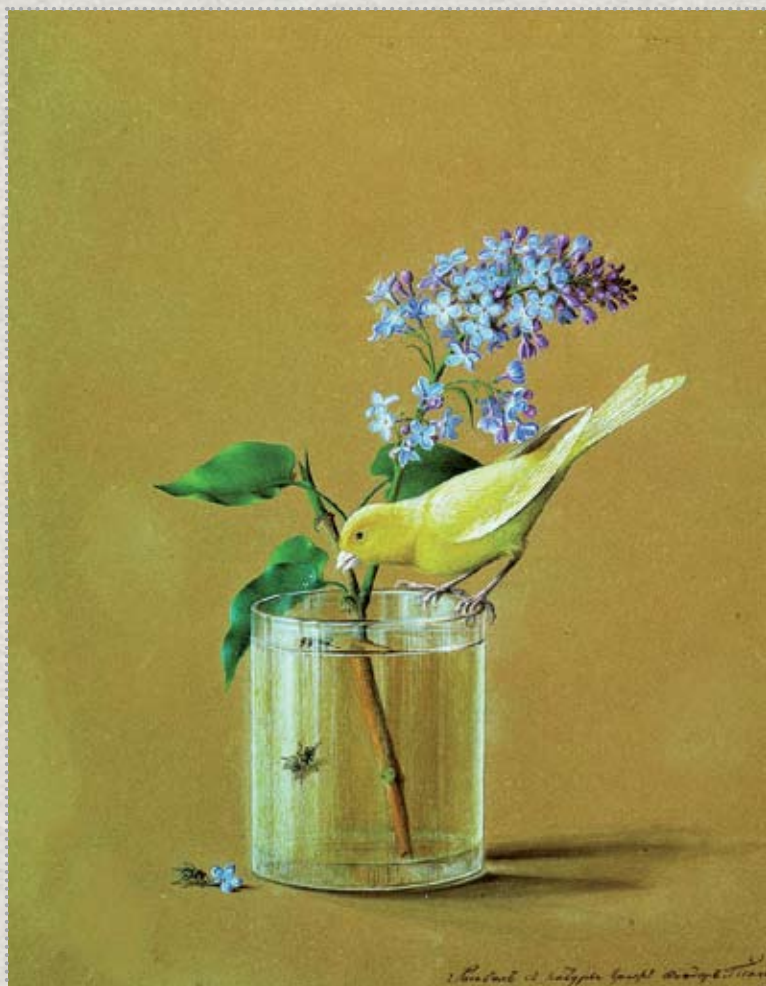
Корректор:

СВЕТЛАНА ПОДБЕРЕЗИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОБОЛЬСКА»,
626100, Россия, Тюменская область,
Тобольск, улица Свердлова, д. 34/1,
тел./факс (8) 3456 246750
адрес веб-сайта www.revival-of-tobolsk.ru

Подписано к печати 30.07.2012
Формат издания 70x108/16.
Бумага Stora Enso «Lux Cream».
Гарнитура: Petersburg
Печать офсетная.
Тираж 1000
Отпечатано в Италии,
фирма «График». Верона





Граф Федор Толстой.
Ветка сирени и канарейка.
1819 г.





1913.27 in
Rusia 12.
Kana 10
Lida 8
Cepren 4
Koraci

